

Арманди А.

ОСТРОВ ПАСХИ

КЛАССИКА  
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО  
РОМАНА

**Андре Арманди**  
**Остров Пасхи**  
Серия «Классика  
приключенческого романа»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=28325263](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28325263)*

*Остров Пасхи: Роман / Пер. с фр. под ред. Р. В. Иванова-Разумника:*

*Мир книги, Литература; Москва; 2010*

*ISBN 978-5-486-03591-3*

### **Аннотация**

Андре Арманди – достаточно известный и коммерчески успешный писатель, чей стиль отличался удачным сплавом приключенческой фабулы с элементами мистики и одновременно большим вниманием к описанию исторических, географических, натуралистских и прочих научных деталей. Этим он нередко вводил в заблуждение читателей, полагавших, что они имеют дело с научно-популярными произведениями. В частности, Горький даже высказывался по этому поводу в письме к Чуковскому: «Я заинтересовался “Островом Пасхи” потому, Корней Иванович, что полагал: это отчет археологической экспедиции, работавшей там, кажется в 1922—23 годах. Оказалось, что это роман...» Тем не менее и этот, и еще девять других романов Арманди были успешно экранизированы.

Роман «Остров Пасхи», представленный на страницах этой книги, повествует о том, как пожилой ученый и четверо его спутников высадились на остров Пасхи в надежде найти там несметные сокровища. Они и не подозревали, во что может превратиться легкое романтическое приключение, если неосторожно потревожить древних духов острова...

# Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	37
Глава III	63
Конец ознакомительного фрагмента.	104

# **Андре Арманди**

## **Остров Пасхи**

### **Часть первая**

#### **Глава I**

#### **Гном**

Довольно!...

Конечно, я никогда не находил, что жизнь очень привлекательна.

Уже давно толкаю я перед собой этот все более и более тяжелый груз изнуряющего труда, новых и новых усилий, болезненных моральных и материальных забот, неосуществленных задач, химерических миражей и особенно – о, особенно! – неумолимых обольщений, из которых образован этот камень Сизифа, называемый существованием. Увы! Мне было бы нетрудно отметить редкие часы, в которые я еще не совсем отрицал деятельность тонкого первичного вещества, сумевшего среди стольких других найти тайную дорогу к элементу, в котором таился мой оцепенелый зародыш.

Но где же, черт побери, эта живая молекула почерпнула

начальные сущности тех противоречивых и парадоксальных чувствований, которыми ей угодно было одарить меня и которые сделали из меня то невозможное существо, каким я являюсь!

Пусть это она вложила в меня те неисправимые ошибки, из которых одни называются энтузиазмом, жалостью и добротой, а другие, менее яркие, – искренностью, наивностью, простодушием; пусть она поселила во мне душу, раздраженная чувствительность которой заставляет меня гармонично вибрировать со всяким внешним проявленным красоты, добра, всего высокого, великодушного; пусть она сверх всего этого осудила меня иметь сердце – пылкое до страсти, любящее до верности, нежное до слез: все это значило, по правде сказать, сильно обезоружить меня перед жизнью.

Но зачем же прибавила она к этому безжалостные поправки: прозорливость и разум, раз она не сочла нужным прибавить к ним оживляющее их начало: волю?

Восхищаться заходящим солнцем – и чувствовать, как слезы подступают к горлу; видеть ясный и открытый взгляд незнакомца – и тотчас отдать ему свою дружбу; восторгаться улыбкой прелестных уст – с немедленным желанием услышать из них слово любви.

И в то же время предчувствовать в красных полосах заката – начинающуюся грозу; в первых словах друга – скрытую корысть; в первом поцелуе любовницы – тайную, заднюю мысль об измене.

И, предвидя все это с проницательностью, которая никогда не была опровергнутой, — не иметь воли, чтобы отказаться от последнего яркого луча неба, побеждаемого грозой; от лицемерного рукопожатия друга; от лживого поцелуя женщины!

Если я прибавлю к этим нравственным несовершенствам преувеличенное самолюбие, которое мне дорого, как будто бы оно было бесценным достоинством, и честолюбие, которое заставляет меня считать посредственным то, чем многие были бы удовлетворены, то я приду к заключению, что будь мое нравственное уродство проявлено телесно, то будущность моя была бы исключительной даже среди коллекции уродов Барнума.

И самое худшее то, что я не знаю, у кого искать помощи. Бог?..

На фронте был у меня товарищ; он был из числа тех очень редких людей, которыми восторгаются за их прямоту и мужество. Вечером, перед атакой, в ожидании назначенного часа, он рассказал мне такую историю:

«В один прекрасный день Бог сотворил младенца. Он был толстенький, кругленький, с ямочками по всему телу, и этот маленький ангелочек улыбался Богу своими ясными глазами и лопотал: кхе-кхе-кхе...

Но так как день был еще не закончен и у Бога еще оставалась глина, то, чтобы убить время, Бог принялся творить микроб дифтерита...»

Именно в эту ночь взрыв снаряда калибра 210 разбил череп моего товарища, как разбивают яйцо всмятку. В этот день он получил от своей жены письмо, полное рыданий, извещавшее его о смерти ребенка: дифтерит. Нет, я не верю, чтобы какой-нибудь Бог принимал во всем этом какое-либо участие.

Люди?..

Быть может, верить в них из-за той подлости, которую они, опытные, проделывают над нами, внедряя в наши неопытные детские души эти смехотворные понятия о чести, честности, справедливости, верности, – понятия, которые обезоруживают хороших людей и делают их приманкой и более легкой добычей для остальных? Общество – это обширное поле для эксплуатации, довольно хитро проводимой ловким и не стесняющимся в средствах меньшинством.

И затем – какое мне дело до всего этого, раз я решился прибегнуть к радикальному лекарству?

С меня довольно!

\* \* \*

С меня довольно! Вот уже три месяца, как я бегаю по объявлениям в поисках работы, как я протягиваю равнодушным людям мои удостоверения и рекомендации, – и я устал, я измучился, слыша повторения одной и той же фразы:

– Но, имея такое положение, отчего же вы не остались там,



где были?

Отчего? А им какое дело!..

Отчего я внезапно порвал контракт, который обеспечивал мне в течение еще десяти лет легкую и широкую жизнь, чтобы вернуться в Париж, где, я это знал, в делах – совершенный застой, жизнь дорога, жилищный кризис и все эти удовольствия, которые являются нашими «доходами» с войны?..

Оттого, что случайно, во время одной поездки, я снова увидел ее, ту, которая когда-то была моей возлюбленной, во всей властности и ласке этого слова, ту, из-за которой вот уже годы я бежал из Парижа, чтобы избавиться от рабства, чтобы забыть ее, чтобы не страдать больше из-за нее, от нее.

Оттого, что она улыбнулась мне своей опасной и красивой улыбкой – перламутр и коралл! – оттого, что серые ее глаза, послушный зрачок которых может расширяться по ее желанию, стали очень нежными, когда она сказала мне:

– Ах, Жан, если бы вы жили в Париже!..

...И надушенная ладонь ее руки замедлила у моих губ.

Было ли это обещанием? Нисколько! Разве я мог в этом ошибиться? Конечно, нет! Мой здравый смысл сейчас же бросил безжалостный луч своей принципиальности, осветивший действительные побуждения ее поступка. Это был простой опыт прежней ее власти, так открывают давно закрытый рояль, чтобы убедиться, сумеют ли еще сыграть сонату.

И под ее искусными пальцами рояль пришел в волнение,

и натянутые струны его задрожали забытыми звуками. Глу-  
пость? Ослепление? Никогда я не соединял большего хлад-  
нокровия с большей ясностью взгляда. Но тогда... в чем же  
дело?

Тогда сердцу моему было холодно, вот и все. Я чувствовал  
в себе удушающую потребность любить, заткнуть рот рас-  
судку, быть безумным, страдать... жить, наконец! И я вер-  
нулся из провинции.

Все произошло так, как я предвидел, хотя и не так, как я  
желал. Я снова встретил всю гамму прежнего жестокого ко-  
кетства, верный результат которого она изучила и которое  
до такой степени безошибочно, что она не потрудилась да-  
же обновить его репертуар. Она умела, как я желал. Я снова  
встретил всю гамму прежнего жеста – беспомощную, умо-  
ляющую улыбку, за которой таился поток слез. Она умела  
вызывать внезапные порывы бунта моего оскорбленного са-  
молюбия, которые заставляли меня, истерзанного, бросать-  
ся прочь от нее, смотреть на прохожих глазами убийцы и не  
видеть их. Она умела, так же как и раньше, возвращать меня,  
усмиренного ее словами ложного сожаления, ее притворным  
подчинением, до того мгновения, когда, вновь покоренный,  
я читал в складке ее рта это невыполнимое презрительное  
торжество и дерзкую уверенность в искусстве ее фехтования.

Ее фехтование! Быть может, это теперь в ней единствен-  
ное, мастерством чего я не могу не восхищаться. В ней врож-  
денное плутовство кокетки, как у кошки, с ее мягкими дви-

жениями. В моем теперешнем состоянии я сужу ясно: она никогда не любила ни меня, ни другого; она любила саму себя, исключительно себя.

И затем в один прекрасный день я узнал другого... потому что неизбежно был «другой», это в порядке вещей... и моя покорность была нужна ей только для того, чтобы питать в нем, из-за соперничества, ревность, следствия которой вскоре принесли свои плоды. Мне тридцать лет; ему, этому человеку, – сорок шесть. Имея дело с ней, стареешься скоро, а вот уже три года, сказали мне, как она им вертела. Он защищался по-своему, и способ его был неплох. Если бы я даже и мог употреблять его, то моя гордость запретила бы мне это, потому что кроме всех других моих недостатков у меня есть еще это странное уродство: требовать, чтобы меня любили только из-за меня самого. Разве я не сказал, что я нелепо устроен?

Для борьбы у меня были только цветы, нежные слова, узкие ложи, где можно прижаться друг к другу, званые чаи, где музыка заглушает шепот признаний, тряские таксомоторы, где поцелуи имеют вкус бензина, и все беспомощное волнение моего покоренного и пламенного сердца.

А у него были тяжелые драгоценные камни, отсвечивающие северным сиянием, жемчужные ожерелья, пачки банкнот и длинное гудящее авто с мягкими подушками, плавно берущее с места и беззвучное на ходу.

Мне было не под силу бороться, и, когда я понял это, я

уже больше не боролся. Я никогда не смотрел на любовь, как на кражу, но всегда – как на дар; всякое насилие, чтобы добиться ее, казалось мне как бы потерей, которая отнимает от любви всякую цену, и точно таким мне казался всякий торг любовью.

Она прекрасно защищалась против моего выхода из игры, потому что я был ей полезен для ее маневров: конкуренция – душа торговли, и она рисковала поставить в опасность свою торговлю, допустив монополию. Я узнал ее прежнюю тактику, ее порывы, среди которых слегка открылись двери такой души, какою – она это знала – я желал бы видеть ее душу, я узнал ее заранее изученные доверчивые откровенности, которые стремились заставить меня снова преследовать недостижимую цель. Но пусть двери были и красивы, я знал, однако, что они открываются в пустоту; и я знал также, что цель была тщетным миражем.

Было ли ошибкой, что я высказал ей все это? Конечно. Потому что она отомстила за это. И месть ее была жестокой.

В этот вечер, две недели тому назад, у нее было собрание близких друзей, среди которых многие знали когда-то, что она и я... Он был там. Со своей самой красивой улыбкой она сказала мне своим покоряющим голосом:

– Видно, что вы приехали из провинции, бедный мой Жан. В Париже – простите, что я говорю вам это, мы в кругу друзей, – в Париже не носят больше смокинга с полукруглым вырезом и с заостренными отворотами, а также не надевают

больше ленточку военного ордена. Это провинциально.

Гости посмотрели на нее с изумлением; потом устались на меня. Я, вероятно, сильно покраснел, но нашел силы улыбнуться.

— Эту моду придумали, без сомнения, те, которые не имеют ордена, — возразил я. — Я ношу эту ленту, чтобы скрасить мой вышедший из моды смокинг. Этим способом я объясняю, почему я не сделался богатым!

Слова эти я подчеркнул взглядом, брошенным на счастливого соперника. Она закусила удила.

— Неужели вы дошли до такой крайности, бедный мой друг? — сказала она со своей самой сладкой улыбкой. — Отчего же вы не сказали этого раньше? Господин Давистер (это была его фамилия) найдет, я уверена, место для вас в своей конторе. Не правда ли?

Она обернулась к нему; он торжествовал и жирно смеялся без всякой скромности. Через пять минут, отыскивая в передней свое пальто, я услышал взрыв ее хрустального, смеха и эти два слова, которые заканчивали дело:

— Он взбешен!

Есть казни более трагические; нет более жестокой. С тех пор я больше ее не видел.

Эти две недели я провел, разыскивая без всякой надежды новые средства к существованию. Я познал долгие часы ожиданий в темных передних, в обществе таких же отбросов, которые с ненавистью смотрели друг на друга беспокой-

ными глазами; я слушал обычные вопросы: «Вы женаты? Отчего вы бросили свое место? Сколько времени вы без работы? Покажите ваш аттестат».

Никто не спросил меня: «Участвовали ли вы в войне? Были ли вы ранены?»

И все это для того, чтобы в конце концов предложить мне – в тех случаях, когда предлагали, – голодное жалование «для начала»; его едва хватило бы, чтобы оплатить скромную квартиру, интимную, уютную, которую я нанял и меблировал для нее. Для нее!.. Насмешка! За полгода она пришла сюда только два раза, мимолетно, чтобы сказать мне:

– Боже, как вы далеко живете! Разве вы не могли выбрать что-нибудь поближе к центру?

\* \* \*

И, однако, она очень мила, моя квартира, и я не жалею, что устроил ее так, хотя бы из-за одного того, что я собираюсь совершить в ней. Мне было бы тяжело покончить с собой в плохой рамке. Здесь же – все по моему вкусу.

Широкие размеры этой студии, большие окна, на которые я спустил драпированные складки тяжелых занавесей; пушистый ковер, на котором должна была нежиться ее голая ножка с блестящими ноготками, тронутыми кармином; глубокая и мягкая мебель без углов, которую я надеялся осветить интимными воспоминаниями; широкая печь с блестя-

щими изразцами, которая согревала бы ее; тихий садик, заросший плющом и отцветающим диким виноградом; сад, который отделял бы ее от улицы и уединял бы ее; рассеянный свет различных ламп с прозрачными абажурами; светлые скатерки цвета бледно-голубого, прозрачного нежно-зеленого и цвета розовых лепестков; спокойствие, мягкие ткани, простор. Это было бы гнездышком, о котором я мечтал со времени возобновления нашей любви. В складках каждой портьеры, в углублении каждой подушки, таились мои обманутые надежды. Они подтвердят мое решение, они будут милосердны к моему уходу.

Потому что я ухожу – с меня довольно!

Я исчерпал свои средства. Помещение, расходы в течение полугода, цветы, ложи, коляски, обеды в Булонском лесу, ужины на Монмартре, телефон – так как она потребовала, чтобы я имел телефон, – все это исчерпало то, что с трудом, годами усилий я сэкономил из моего жалованья. У меня нет больше ни одного су, а завтра срок октябрьской трехмесячной платы за квартиру.

Правда, у меня еще есть драгоценности, платья, мебель, все то, чем я мог бы широко оплатить помещение и продолжить борьбу еще на несколько месяцев. Закладывать, продавать, падать?.. Я устал. С меня довольно!

И затем – для меня это не неожиданность и еще менее того – жертва. Я всегда думал, что по моей полной воле приближу час своего исчезновения с этого света. Я привык к этой мыс-

ли. Она мне всегда казалась безошибочным и радикальным лекарством в трудную минуту. Уже два раза жизнь отодвинула от меня это последнее средство; два раза она отвратила в последнюю секунду мою решительную руку, как будто она жалела игрушку, которая могла разбиться сама собой. Где два, там и три, но этот третий раз будет уже последним. С меня довольно!

\* \* \*

И так как я хочу вкусить горькую радость – убить это смешное и нежное сердце, которое ведет во мне независимую и непокорную мне жизнь, – то пусть по крайней мере это будет красиво.

Сегодня вечером среди роскоши и света, которые я так люблю, и под колыбельные звуки хорошего оркестра я тонко пообедал. Недалеко от меня из-за стола, уставленного цветами, красивые черные глаза улыбнулись мне. Сделали ли бы они это, если бы знали, что этот джентльмен в смокинге, в туго накрахмаленном белье, наслаждавшийся небольшими затяжками хорошей сухой гаваны с совершенно белым пеплом и следивший смягченным взглядом за клубами голубого дыма, поднимавшегося к золотым сиявшим люстрам, положил на счет, лежавший под его тарелкой, последний банковый билет из своего запаса? Но я хочу остаться при иллюзии. Спасибо, прекрасные женские глаза!



На остатки сдачи я украсил цветами большую хрустальную вазу, так часто украшавшуюся для нее... и так напрасно!

Огромные хризантемы, с лепестками цвета старого золота и кармина, имеют подобающий погребальный вид. В мою бронзовую курильницу я положил на потухающие угли немного китайского ладана. И кажется, что его пахучая и нежная струя проникает весь воздух комнаты.

Написать? Зачем? У меня нет более ни родных, ни друзей; какое мне дело до живущих после меня?

Написать ей?.. Было бы сладко знать, что горячая слеза упадет на мой холодный лоб. Но ее, конечно, удержала бы боязнь видений. Незачем устраивать себе посмертное разочарование и иллюзии. Я не напишу.

Я растянулся на моем большом диване-кровати и заботливо обдумал всю обстановку. Я остался в вечернем костюме, в лакированных башмаках, в гладко натянутых шелковых носках. Весь в черном и белом на черном и золотом покрывале я сейчас заставлю распуститься на месте сердца пурпуровый цветок.

Я думаю о том, что гармония эта будет только мимолетной, что завтра утром взволнованные женщины нарушат это тяжелое молчание, которое нависнет надо мной, что консьержка будет молиться, горничная плакать; кругом будут шнырять мужчины в шляпах и трехцветных повязках; на моем однотонном ковре отпечатаются, как двойные шестерки, гвозди грубых, перепачканных земель, башмаков похорон-

ных носильщиков. Все то, что было устроено для нее, как ларец с драгоценностями, станет безличным, будет осквернено. Но зачем смущать этими мучительными образами ясность последнего прекрасного вечера? Не надо думать об этом.

Вот совсем близко от меня, на маленьком низеньком столике, где лежат мои книги у изголовья, ее портрет, до которого я могу дотянуться ласкающей рукой.

Портреты? Их у нее почти столько же, сколько зеркал. На всех она улыбается улыбкою, которая – она знает – ей идет и которую я ненавижу, потому что она одинакова для всех. Из всех ее портретов я сохранил вот этот, потому что на нем беглая мысль смягчила выражение лица, и такую она почти похожа на ту, которую я любил под ее оболочкой, на ту, которая имеет душу, на ту, которую я никогда не знал...

Это ее чистый лоб и продолжающий его прямой нос, как на античном профиле греческих статуй; это дрожащий венчик ее ноздрей, ее благоуханный рот, поцелуй которого... О! Ее поцелуй!.. Эта четкая радуга ее бровей, ее изогнутые, длинные ресницы. Нежная волна волос, убранных на ночь, среди которых я так любил редкие серебряные нити, – она имела их уже в двадцать лет, и их у нее не больше и теперь, когда ей тридцать. Подбородок ее, выражающий упрямство и твердую волю; тонкая круглая шея, которую она в тот день украсила ниткою жемчуга. Плечи ее, в углублениях которых я спал когда-то, вдыхая аромат ее кожи!.. Ее грудь! Ее грудь,

чудесную юность которой, а потом ослепительную зрелость я знал когда-то...

И все это будет продолжать жить, трепетать, дрожать – а меня не будет... но все это начнет в свое время вянуть – и в этом будет худшее наказание!

А вот и ты, верный друг, старый товарищ, постоянное общество которого было моей поддержкой в тяжелые часы! Гладкий, черный, холодный – ты мне близко знаком, верная сторожевая собака, с пастью, нацеленной на жизнь; твои стальные губы – кольцо, ставшее блестящим от постоянной полировки в кармане. Ты никогда не страшил меня, и я смотрю на тебя без ненависти и без волнения, ты наконец-то излечишь меня от всякого зла, от всякого сожаления...

Нет, я не прижму твое короткое дуло к моей груди, потому что ты обезобразишь меня на таком близком расстоянии. Я хочу быть красивым после смерти. Я приставлю эту линейку к своей груди, в углубление, под которым я чувствую двойное и ритмическое биение, которое сейчас погаснет, – и эта линейка издали будет проводником твоего резкого свинцового удара. Такая рана будет красивой, без разрыва и без кровавых брызг.

Слишком много ламп: достаточно вот этой, вдалеке. Лунный луч скользит между краями длинных занавесей и задевает любимую безделушку, чертя на ковре бледную полосу иллюзорного света. Спасибо!

Среди пепла в камине падает красная головешка; она

стукнула... и концентрические волны звука расширяются и нарушают молчание. Я вздрогнул!

Полно, Жан, будь мужчиной, черт побери, на то короткое время, которое тебе еще осталось быть им!

Прощайте, бездушные вещи, – вы были моими! Пусть ваши новые хозяева будут людьми со вкусом. Прощай, ласкающий и обволакивающий их нежный свет! Прощайте, цветы, растрепанные, как женская голова на подушке! Прощай, аромат! Прощай, дорогая...

Улыбнись, – хочешь? Нет, не этой улыбкой... я знаю, что зубы ваши красивы. У вас нет другой?.. Жаль!.. Прощайте... Нет, нет, я не буду плакать, будьте спокойны!

Прощай, жизнь, старая комедиантка!

Прощай, Жан... Ну, храбрее, старый товарищ... дверь открыта... уходи! Стисни зубы, закрой глаза... нажми пальцем... курок...

Осечка! А! Проклятье!

\* \* \*

– Добрый вечер, сударь. Я боялся, что не застаю вас дома. Станный час, не правда ли, чтобы отдать вам ваш визит? Я обдумывал с того времени. Но, быть может, я вам мешаю? Цветы, парадный вечерний костюм?.. Вы ждете гостей? Быть может, я лишний и вы не можете принять меня? Прошу вас, не церемоньтесь. Я еще приду, если вы позволите.

Зажженный мною свет обрисовывает фигуру человека, звонок которого заставил меня вскочить с дивана и резко войти в действительность. Да ведь это гном!

«Гном» – вот немедленное слово, которым мой ум определил эту странную фигуру, когда сегодня днем я проник в его контору; объявление приглашало желающих занять место секретаря. Гном! Станный оборот масли, заставивший меня сопоставить этого маленького ковыляющего остроглазого человека с гениями-хранителями подземных богатств, гномами, рожденными воображением еврейских каббалистов.

Он как будто сошел с рисунка Густава Доре. Я представляю себе эти кривые ножки – в чулочках и в длинных остроносых башмаках; грушеобразное туловище и кругленькое брюшко – стянутыми кафтаном из кожи летучей мыши; голову, состоящую из одного лба, украшенную высокой острой шапочкой, отороченной мехом, в которую воткнуто перо совы; волнистая и скрученная в воде малайского криса борода; хрупкие руки, длинные как у обезьяны, заканчиваются двумя узлистыми кулаками, внушающими опасения... И так он правит хоровод на шабаше, обуздав удилами огнедышащую пасть крылатой саламандры...

В действительности же он одет очень прилично в малопоношенный сюртук и в панталоны без штрипок; в руке у него демократическая фетровая шляпа, не слишком грязная; у него чистое белье, и хотя воротник шире, чем нужно, на два номера, а окружающий его шнурок более похож на шну-

рок башмака, чем на галстук, – он в общем вполне приличен.

Бегающие его глаза, окруженные расходящимися морщинками, скрыты под густым кустарником ресниц и бровей с проседью, и похожи на два тонких голубых острия, которые вонзаются в меня с остротою металла. И мне кажется, что сквозь выпуклые стекла его очков я читаю в его глазах насмешку...

Я еще немного оглушен. Жестом указываю я ему на кресло и предлагаю объясниться.

– О, я лучше уйду, – говорит он, усаживаясь. – Я сознаю, насколько визит мой не вовремя. Но представьте себе, что после вашего ухода я стал испытывать что-то вроде угрызения совести. Мне показалось, что вы просто потемнели, услышав мой окончательный отказ... По правде сказать, я вас в достаточной мере обескуражил, или, лучше сказать, деморализовал: да, но правда ли, деморализовал своим приемом и ответом на вашу попытку? Ведь будущее так скрыто настоящим от тех, которые не обеспечили его себе! Короче говоря, мне показалось – непростительно настолько ошибиться, в мои годы! – мне показалось, что вы находитесь в нужде, – прошу извинить меня – и я пришел, чтобы предложить вам... – Взгляд его обегает всю комнату, останавливается на ценных безделушках: точно судебный пристав, выбирающий, на что наложить первое запрещение; останавливается на моих лакированных ботинках, на тонкой платиновой цепочке часов, на жемчужине в моем галстуке. – Но вижу,

насколько я ошибся, я удаляюсь... не правда ли?

Он не двинулся со своего кресла, он издевается. Я – в аду. А ему, по-видимому, доставляет удовольствие зрелище этой второй агонии, которую он сделает, я это чувствую, более жестокой, более мучительной, чем первая. Тонкие складки его безгубого рта пришепетывают невыносимые «хе-хе!»... И внезапно мною овладевает яростное желание раздавить моим кулаком голову макроцефала, разбить ее, как переспелую тыкву, увлечь его с собою, заставить его предшествовать мне в небытие, в котором я уж был бы, не приди он...

Я встаю... Он прочел это решение в моих глазах убийцы. С лица его точно падает маска, и оно становится высеченным из камня; широко открытые глаза, глаза бесцветные, фиксируют меня в упор своим невыносимым и изумительным взглядом... и я бессильно падаю на стул, а моя воля кружится, кружится в непобедимом Малыштреме...

Еще секунда – и лицо его стало по-прежнему лукаво-добродушным, ужасные глаза снова сделались голубыми черточками между веками, опущенными редкими ресницами. И я не возразил ни одним словом, когда он снова начал:

– Вот как? Я, значит, не ошибся. Вы доведены до этого, в вашем возрасте? Странное время! Сколько вам может быть лет? Тридцать?.. Да, тридцать лет. А я, переживший их уже дважды, до сих пор нахожу сладость в этой жизни, из которой вы хотели уйти... Уйти! Я сказал это и не беру слова назад, а поддерживаю его. Потому что вы хотели уйти, не

правда ли? Ведь это углубление от вашего тела еще осталось в подушках дивана? Ведь это черные грани револьвера блещут в тени этой ткани?.. Но, быть может, вы колебались в тот момент, когда...?

Я беру браунинг; сухим ударом выбрасываю оставшийся в дуле заряд и бросаю гному. Он исследует его и кажется в высшей степени довольным:

– Хе-хе! Нет, клянусь Эзопом, это было серьезно. Маленькая капсюля из красной меди носит отпечаток курка и ясно подтверждает ваше решение; если бы гремучая ртуть была хорошего качества, то неразрешимый вопрос о том свете был бы в настоящее время уже решен для вас, если в таких случаях может быть какое-нибудь решение. Я не думал, что приду так поздно. Значит, молодой человек, мы хотели уничтожить себя, в тридцать лет!

Он снова обводит взглядом комнату. Указательный палец протягивается к портрету, стоящему на столике у изголовья, и лицо сияет от радости:

– Из-за этого?

И он разражается непрерывным кудахтаньем:

– Из-за женщины! Из-за женщины! Убить себя! Невообразимое безумие!

Он поднимается и схватывает меня за руку сухими своими пальцами:

– Молодой человек, взгляните на меня: мне шестьдесят шесть лет, и я урод. И, несмотря на это, – ни на одно мгнове-



ние, ни на мгновение блеска молнии не переставал я любить жизнь в течение этих шестидесяти шести лет и не испытывал сожаления от того, что я некрасив.

Заставив работать мозг, который скрыт под этим черепом, я развил в нем как бы мускулы. В эту черепную коробку я собрал всю сумму человеческих знаний. Тот, кто разбил бы ее в своем гневе – а об этом кто-то подумал, – (его страшные глаза издеваются надо мной), – сделал бы худшее, чем если бы предал огню все библиотеки всего мира, потому что я перешагнул через современные границы науки и вкусил несравненную радость – пробегать по ее неисследованным полям, где меня никто не опередил и не обогнал. Я думаю, что такое же чувство было бы у авиатора, если бы ему было дано вылететь за границы земной атмосферы и парить в ледяном эфире. Какое телесное наслаждение может сравниться с этим?

Я мог бы, если бы придавал ценность погремушкам тщеславия, вкусить все почести, к которым так стремятся все ученые. Из мозга моего я сделал храм и музей, в который никто не проник и в котором собраны все энциклопедии всего мира. В шестьдесят шесть лет я пережил все циклы веков минувших и предчувствовал циклы веков грядущих!

И все это я мог сделать только потому, что от самой нелепой юности я вычеркнул, вымарал, вытравил из моей жизни то нелепое чувство, тот род болезни, впрочем в значительной мере излечимой, которую называют любовью. А вы,

неразумное дитя, хотели убить себя из-за женщины!

Этот высокомерный старик приводит меня в дрожь своим желанием заставить признать, что это он презирает любовь, в то время как сама любовь питает презрение к этому кощею. Но я не успел сказать ему это, потому что он уже прочел мою мысль и уже издевается, невыносимо хихикая:

– Хе-хе! Я сказал «любовь», но не «женщина», потому что, используя некоторые свои самые незначительные идеи, я стал очень богат, а женские тела очень доступны, когда золотой ключ, открывающий их, стоит достаточно дорого. Мне не приходилось встречать непокорных, и вот эти самые руки, какими бы уродливыми они вам ни казались, в свое время обнимали самые роскошные тела.

Слушать, как этот уродливый карлик восхваляет, издеваясь, единственную вещь в мире, которой я дорожу, – это больше того, что я в силах вынести. И я хлещу его словами, как кнутом:

– Вы только выполняли телодвижения и знали лишь свою собственную радость, но не их!

– Я получал видимость любви, увеличивая за это плату!

– Гнусная пародия!

– Мне было ее достаточно. Я мог усиливать ее по моему желанию и деньгами регулировать степени восторга и проявлений его... А вот вы, молодой, красивый, любимый, познали только женское эгоистическое наслаждение!

– Вы могли их взять, но они вам не отдались. Восторг их

был только гримасой, и они вытирали губы простыней после прикосновения ваших губ.

– А кто вам докажет, что это именно вас они целовали, целуя вас в губы? Могли ли вы проследить их блуждающую мысль в то время, как глаза их уходили внутрь самих себя?

Он мучает меня. Под его словами все мое мужество тает и вытекает из меня, как иссякающий источник. Я бросаю ему полными пригоршнями все мои разочарования, все обманутые иллюзии, а он издевается. Все мои сентиментальные аргументы отскакивают от его сухого цинизма, точно пробковые пули от старого заскорузлого пергамента. Сердце мое – тяжелая ноша, которая душит меня и разрывается во мне; его сердце – орган из мускулов и пустот, который, ритмически сжимаясь, питает артерии, и ничего больше.

Но вот мои растерзанные нервы не выдерживают, и я рыдаю. Он замолчал. В то мгновение, когда я спрятал мое подергивающееся лицо в складки рукава, мне показалось – или это привиделось мне? – будто я чувствую, как рука его тихо гладит мой лоб и смягченный голос шепчет: «Бедный малый!» Я приподнял залитые слезами глаза: он сидел все там же, на прежнем месте, и горькая складка не покинула его рта.

– Давайте кончать. Или вы пришли, чтобы сделать мой уход более болезненным? Чего вы от меня хотите?

– Избавить вас от непоправимой глупости – во-первых. Затем – предложить вам сделку.

– Не от вас зависело, чтобы глупость, если это глупость,

не была совершена.

– Верно! Я не думал, что вы уже настолько созрели... чтобы сделать ее. Но она не сделана, и это главное. Не все ли вам равно, кому вы этим обязаны?

– Обратимся к вашей сделке.

– Чего не хватает вам для счастья?

– Любви!

В его гримасе бесконечное презрение:

– Я плохо поставил вопрос: чего не хватает вам, чтобы добиться любви? У вас лицо, которое они любят, и ваша сентиментальность, впрочем, легко излечимая – бром, валерьяна, физические упражнения, увлекательные умственные занятия, – должна вам подсказывать в нужные моменты слова, заставляющие трепетать женские нервы. В чем же дело?

Я раздумывал.

– Я беден.

– Хе-хе! Разве и вы тоже собирались покупать их?

– Это было бы для меня отвратительно. Нет! Но в наше печальное время надо иметь хоть минимум дохода, чтобы сохранить любовь. Ну а у меня нет на завтра даже куска хлеба.

– А эта роскошь, эти драгоценности, эти цветы?

– Я не хочу скатываться вниз.

– Вот мы и договорились.

Гном поднялся и стал шагать по комнате. Казалось, что шарниры его составных ног двигаются в обратную сторону. Когда он проходит перед лампой, то лучи ее, преломляясь в

пушке его лысины, образуют над его черепом что-то вроде блуждающих огоньков. Стекла его очков блистают краткими молниями, и глаза его от времени до времени вонзаются в мои.

– Вы очень хотите исчезнуть?

– С меня довольно!

– Что же вы надеетесь получить по ту сторону жизни? В Бога вы не верите, раз вы убиваете себя. Измерили ли вы черный и бездонный вихрь, в который вы готовитесь бросить все то, что в вас живет? Взглянули ли вы на небытие лицом к лицу? Соприкоснулись ли вы, в безмолвии вашей мысли, с сырым холодом и удушающей тяжестью земли, в которую вы готовы закопать себя? Преодолели ли вы головокружение от этих пяти букв: ничто?

– Ах, замолчите! Я нуждаюсь в той доле мужества, которая еще осталась во мне.

– Ну, вот видите! Вы не смеее даже думать об этом.

Гном пожимает плечами. Он расширяет свои серо-зеленые глаза – и непобедимая скованность делает неподвижными позвонки моего затылка.

– А что, если бы вам предложили не деньги, но состояние? Я говорю не только о довольстве, то есть о богатстве. Нет: невообразимое состояние, неисчерпаемое богатство, такое, которое не дерзнешь назвать в цифрах, даже во сне; богатство неисчерпаемое, или, что то же самое, исчерпать которое можно было бы усилиями, каких не хватило бы челове-

ку, единственной заботой которого в жизни было бы расточать это богатство.

– Я не люблю шуток.

– А я ненавижу их.

Я смотрю с беспокойством в лицо ему. Он отвечает на мою невысказанную мысль:

– И вдобавок – я не сумасшедший.

Спокойствие его безмерно смущает меня.

– Это сделка. Хотите заключить ее?

Я в упор смотрю в его глаза:

– В чем же то ужасное, что вы собираетесь предложить мне взамен?

Если он будет продолжать так смеяться, то я чувствую, что разорву на части этого зловещего паяца...

– Ну, конечно: обостренная нервность, почти как у женщин; болезненная чувствительность; раздражительные рефлексы; деформирующее воображение; смещение душевного стержня; ипохондрия; устойчивость ощущений, приводящая к экзальтации, влекущая за собой навязчивую мысль – предвестницу самоубийства. Вот из таких элементов составлены мозги гениев и сумасшедших. Вы видите меня в плаще огненного цвета, с копытами на ногах, с рогами на лбу, и запах серы отравляет ваше дыхание. Я – Сатана, искушающий Фауста, не правда ли? Это – лечится, это – излечивается; и даже лучше – это можно не только лечить и излечить, но и ввести в русло и использовать.

– Я не просил вас о консультации, я поставил вопрос. Что вы потребуете от меня взамен предлагаемого вами?

– Для начала просто вот что: покинуть Париж; отправиться успокоить свои натянутые нервы в деревню, которую я знаю, живописную и уединенную, в которой цивилизация отстала на три века. Там есть старая лачуга, которая когда-то в прошлом была замком сюзеренов. При Людовике Тринадцатом владелец этого замка, друг герцога де Льюиса, присоединился к гугенотской партии господина Жана-Армана Дюплесси. Красные кардинальские шапки взволновались этим, и Ришелье велел скрыть замок и сровнять с уровнем земли все его правое крыло, в виде первого предупреждения, сообщив добавочно бунтовщику, что если он будет упорствовать, то голову его постигнет судьба левой половины, которая тоже будет скрыта.

Вельможа после этого стал тише воды, ниже травы, и изуродованный замок уцелел. Теперь эти старые развалины – моя собственность, точно так же, как и окружающая их земля, вся лежащая под паром. Я приобрел все это за гроши, пленившись диким местоположением, почти полной уединенностью.

Замок этот находится в департаменте Ло и Коррезы и примыкает к первым обрывистым уступам Центральной возвышенности. Прелестный поток с чистой кристальной водой, Цера, омывает поросшие мхом камни замка; если вам захочется, то вы можете удить форель и охотиться, сколько

вам вздумается. Самое близкое селение называется Ганьяк, а замок – Ла-Гурмери. Старый сторож, играющий там роль управляющего, будет к вашим услугам.

Пока он говорил, мысли теснились в моей воспаленной голове. Уехать! Да, это было бы хорошо – уехать, уединиться, вновь погрузиться в жизнь на лоне уединенной земли! У меня уже не хватит, теперь я это хорошо сознаю, новой силы – начать дело с той точки, на которой я остановился. Есть мужественные решения, которые нельзя принять вторично.

– Допустим, что я это приму, но ведь это только ближайшее будущее, и я до сих пор еще не вижу ничего, что придется мне дать взамен той помощи, которую вы мне предлагаете. После всего того, что сказано между нами, вряд ли я оскорблю вас, если признаюсь, что вы не производите впечатления филантропа. Чего же вы потребуете потом?

– Вы узнаете это позднее. Дайте мне закончить, не прерывайте. Как бы там ни было, вы всегда будете вполне свободны – принять или не принять мое предложение, когда я вам его сделаю. Теперь же вы не в состоянии обсудить его хладнокровно. Я приеду к вам туда, когда придет время.

– Напрасны были бы все попытки, если то, чего вы ожидаете от меня, находится в противоречии с моими идеями. Единственное мое личное утешение, что до сих пор я жил порядочным человеком; так желаю я и продолжать. Я – не человек, годный на все. Итак, если то, что вы предполагаете, противоречит законам...



– Что называете вы законами? – отрезал гном. – Условно-сти, которые оправдывают или осуждают одно и то же действие, смотря по размаху, с которым оно совершено? Этим законам, законам человеческим, я подчиняюсь, не зная их, и обхожу их, когда считаю их нелепыми. Я признаю для себя только закон науки и совести. Границы их, в том, что касается вас, вы наметили сами, и я даю вам слово, что никогда не стану заставлять вас переступить их.

– Вы подпишете обязательство вернуть мне свободу, если я откажусь исполнить то, что вы предложите мне впоследствии?

– А разве я просил вас подписать предварительное ваше согласие и что смогу я предпринять против вас с точки зрения законов, если вы мне откажете, когда придет время?

То, что он говорит мне, – вполне верно, но именно это отсутствие требовательности, это какое-то одностороннее обязательство, которое он принимает, не связывая меня, наводит на меня страх.

– Что надо будет сделать, чтобы получить это богатство, ужасающую власть которого вы показываете мне, дошедшему до отчаяния?

– Надо будет отправиться искать его там, где оно вас ждет.

– Кто его удерживает?

– Насколько я знаю – никто.

– Если вы знаете об его существовании, отчего вы сами, один, не отправитесь искать его?

– Потому что богатство – не то, к чему я стремлюсь, потому что я преследую другую цель и потому что, чтобы достичь ее, мне необходимы помощники.

– Так, значит, это не филантропия?

– Вы сами сказали: разве я похож на филантропа? Я презираю человечество настолько же, насколько вы можете его ненавидеть.

Я пытаюсь, смотря на него в упор, проникнуть в загадку, решение которой находится за его огромным лбом. Он усмеется тщете моих усилий. Бесцветные глаза его останавливают мой умственный допрос, как изолятор останавливает поток электричества. Надо кончать:

– Пусть так! Я принимаю настоящее, но оставляю за собою будущее...

– Это было уже сказано! Мы с вами согласились.

– Когда надо будет уехать?

– Завтра, но вы последуете за мною сегодня же вечером...

Нет, на этот раз он плохо проник в мои мысли. Я больше не думаю о самоубийстве.

Завтра я должен платить за квартиру, и я называю ему сумму, наблюдая за ним. Без малейшего возражения он вынимает из своего бумажника толстую пачку крупных банковых билетов, отделяет от них три и протягивает их мне:

– На первые ваши расходы.

Потом, повернувшись ко мне спиной, он погружается в созерцание картины. Пока я укладываю чемодан, бумажник

лежит на краю стола. От толстой пачки бумажник лопнул по шву, и через щель банковые билеты кажутся листами толстой брошюрки. Через мгновение он оборачивается; глаза его перебегают от моих глаз к бумажнику и обратно, и на лице появляется улыбка-grimаса.

– Я безоружен, – сказал он.

– Если бы вы не были стариком, – возразил я, весь вскипев от стыда, – я имел бы удовольствие надавать вам оплеух.

– Хорошо, молодой человек. Я заслужил это. Я люблю узнавать тех, кого собираюсь использовать. Мне нужны люди, настоящие люди. Вы будете одним из них, я в этом уверен. Не сердитесь на старика, который собирает справки.

О, вот курьезная перемена! Гном на протяжении десяти секунд был человеком, простым, добрым и старым человеком, выцветшие глаза которого блестели от волнения. Но сейчас же прежняя маска закрыла его лицо, точно заслонка.

– Чуть не забыл: вы найдете там, не считая сторожа, еще трех человек. У них также были причины жаловаться на жизнь, хотя и не те, какие были у вас. Не старайтесь проникнуть в их тайну, как и они не будут стараться проникнуть в вашу, а постарайтесь сойтись с ними, потому что они – ваши будущие товарищи по экспедиции. Я прибуду к вам туда через некоторое время, которое пока не могу определить, и тогда вы все узнаете.

Ужасный человек! Я еще не успел сформулировать свою мысль, как он уже на нее ответил:

– Не беспокойтесь о разделе богатства. Клянусь вам, что даже четверти будет достаточно, чтобы с избытком покрыть ваши самые безумные желания.

Это правда! Я подумал об этом разделе. А значит, я уже верю в это богатство. Внезапно я сознаю, что в моей душе вчера сплавляется с завтра, с тем завтра, которого я уже не должен был видеть; а теперь – я хочу жить!

– Еще одно, – сказал мне гном, – сожгите вот это!

Он не смотрит на меня! Как бы я хотел, чтобы он взглянул на меня... чтобы помочь мне! Я беру указанный им портрет. Она всегда улыбается своей стереотипной улыбкой, своей улыбкой, которую я одновременно и люблю и ненавижу.

Рядом на низком столике – плоский блестящий и черный браунинг и маленький заряд, с капсулей, вдавленной от удара курка. Точно при блеске молнии я снова переживаю только что пережитые мною ужасные мгновения... стиснутые зубы... закрытые глаза... нажатый курок... осечку...

Тогда я схватываю портрет, внезапно возненавидев эту женщину, разрываю его с бешенством, бросаю неравные куски в пламя камина и смотрю со жгучей радостью, как они горят, а лицо мое озаряют отблески их пламени.

Отомстить! Отомстить! О! Как я буду бороться, чтобы завоевать власть, – и отомстить!.. отомстить!.. отомстить!..

## **Глава II**

### **Один знает – пять желают**

– Смирно, Табаро! Смирно, старый пес! Это еще не твой хозяин; это только ветер стучится в окно.

Плохо убежденный этими словами, громадный пес обнюхивает порог, за которым тяжелая дубовая створка двери обита гвоздями, нетерпеливо визжит, нервно зевает и медленно возвращается греться, растянувшись на каменных плитах перед огромным очагом, где огонь пожирает толстые поленья каштанового дерева.

– Если в такую погоду нотариус приедет, то это будет значить, что у него возвышенное понимание своих обязанностей, – говорит Корлевен, протягивая к огню длинные ноги в гетрах и пуская к выступающим балкам высокого потолка облако табачного дыма из своей трубки.

Выслушав это, Гартог вновь погружается в тщательное изучение газеты, которую он широко развернул на старинном столе с массивными ножками, на одном углу которого еще стоят остатки нашего ужина.

– На вашем месте, Флогерг, я бы просто сел в печь, – шуточно возобновляет разговор Корлевен.

Флогерг примостился на низком табурете перед поджаривающим его огнем, бросающим на его угловатое лицо пламя пожара. Плечи его передергивает дрожь.

– В этой большой казарме замерзнешь, – говорит он низким и слабым голосом. – Все старые камни, из которых она сложена, излучают холод и ипохондрию. Если доктор Кодр будет еще медлить употребить нас в дело, то, право, мне очень хочется начать течение дел с той самой точки, на которой я остановился, когда встретил его.

Он бросает в очаг тяжелый обрубок, и в очаге поднимается вихрь пламенных искр. Язык пламени подымается вверх и делает прозрачными худые и длинные руки, которые протягивает к огню Флогерг. Под укусами огня дерево свистит, шипит, ноет, трещит и выплевывает раскаленный уголь, разлетающийся на части и выбрасывающий из себя миниатюрную дымную ракету. Собака приподымается и ворчит.

– Смирно, Табаро!

Животное полузакрывает свои стекловидные глаза под ласкающей рукой Корлевена, пальцы которого запутываются в густой и жесткой шерсти; потом собака снова ложится.

И снова молчание в обширной зале, каменные стены которой оживлены увеличенными тенями, пляшущими при свете огня. Снаружи ветер воет среди приподнятых веток деревьев, проносясь через лес. Яростное кипение реки Церы прибавляет к этим звукам мощные и низкие звуки своего бурного падения.

– Они должны были бы уже быть здесь: поезд из Болье проходит через станцию Ганьяк в девять часов. Теперь уже десять.

– Будьте справедливы, Гедик, – замечает мне Корлебен, – до вокзала отсюда два лье, а лесные дороги в такую погоду вряд ли похожи на шоссе.

Флогерг, достаточно прожарившись спереди, поворачивается на своей табуретке.

– Что это вы читаете, Гартог? – спрашивает он обычным возбужденным голосом.

Гартог заканчивает какие-то действия, начатые карандашом на полях газеты, и отвечает не оборачиваясь:

– Газету.

– А что же так увлекает в ней вас?

– Биржевой курс.

Флогерг смеется, и от смеха его делается жутко.

– И это вас интересует? Держу пари, что вы рассчитываете, как поместить вашу будущую часть сокровища.

– Поместить – о нет, употребить – да. Биржа может пригодиться и на другое дело, чем помещение своих денег.

– На какое же?

– Поглотить деньги тех, которые меня разорили, – глухо отвечает Гартог.

– Когда мы дойдем до такой возможности, – говорит Корлебен, – вы скажите мне, Гартог. Я назову вам тогда одно морское акционерное общество, с акциями которого надо будет проделать недурную игру на понижение.

Гартог пристально смотрит на Корлевена.

– Запомню, – говорит он просто.

Смех Флогерга звучит еще более горько.

– Так, значит, вы все верите в это предназначенное нам богатство, которое снова придаст вкус к шалостям жизни четырем ее обломкам, какими являемся мы?

Гартог резко поворачивается к нему.

– А если вы сами, Флогерг, не верите в это, то что же вы делаете здесь?

– А вы, Корлевен? – спрашивает Флогерг не отвечая.

– Я, – философически отвечает Корлевен, – я думаю, что когда не осталось уже терять ничего, кроме жизни, то всегда можно сделать попытку.

– А вы, Беньямин среди отчаявшихся?

Я значительно моложе всех их, младший из четверых, и они прозвали меня Беньямином.

– Я верю. Если бы у старого Кодра не было уверенности, то для чего бы ему принимать нас здесь, и при том, надо признаться, весьма гостеприимно.

– Как это чудесно – еще иметь возможность надеяться!

– Замолчите, зловещая птица, – говорит Корлевен. – Со всеми своими ужимками скептика вы среди нас четверых, быть может, самый верующий.

Флогерг поднялся; на лице его выражение беспощадной и яростной ненависти.

– Веры нет! Есть желание, да, есть, желание всеми силами души! И я думаю, что для некоторых людей, которых я знаю, лучше было бы, чтобы на головы их пал огонь, пожравший



Гоморру и Помпеи, чем если в этом кармане будет лежать моя часть этого богатства. Да, Корлевен, вы правы, я хочу верить в это.

– Так, значит, спора нет! – отвечает Корлевен. – Я предпочитаю видеть вас таким, чем видеть, как вы в нерешительности изводите свою желчь. Итак... Вы подпишете сегодня вечером?

– Подпишу.

– А вы, Гартог?

– В принципе я согласен. Но я хочу еще раз послушать чтение договора и сформулировать некоторые поправки. Если они будут приняты, я подпишу.

– В вас говорит деловой человек, – шутит Корлевен. – А вы, Бенъямин?

– Подпишу.

– Ну и я, клянусь мачтой, я подпишу, будь эта подпись хоть последней на моем жизненном листе, и заставь она меня плавать хоть по Ахерону!

Собака тонким слухом уловила мягкое движение колес по снежному ковру дороги. Она царапает когтями дверь и нетерпеливо визжит.

В каменной раме открытой двери, откуда врывается вихрь белых хлопьев, показывается засыпанный снегом силуэт сторожа, закутанного в шинель; он отступает, чтобы пропустить нотариуса.

– Смирно, Табаро! Да, это я, красавец ты мой. Дай пройти

господину Бикоке.

Дверь снова закрыта; снежный вихрь за дверьми, и два человека отфыркиваются и отряхивают на широкие каменные плиты покрывающую их снежную пыль.

– Господа, – говорит нотариус, вытирая жемчужинки растаявшего снега, усеивающие его усы, – господа, я к вашим услугам.

Потом он обращается к сторожу:

– Будьте добры, Гаспар, оботрите мое ружье замшей.

– Позвольте мне только распрячь лошадь, и я займусь вашим ружьем, господин нотариус.

– Черт побери! – говорит Гартог. – Я не знал, что министерские чиновники должны вооружиться, чтобы исполнять свои обязанности. Разве в лесу есть разбойники?

Нотариус – толстый рыжий человек, одетый в бархатную куртку, на ногах бурые гетры. Добродушная улыбка освещает его лицо, обросшее щетиной.

– Нет, не разбойники; но в такую погоду с гор спускаются кабаны, а я большой любитель окорока с хорошим маринадом.

И он точно нюхает лакомый запах, в то время как, стоя перед очагом, стряхивает с себя снег и обволакивается туманным паром. Пахнет прачечной.

– *Utile dulci*, приятное с полезным, – шутит Корлевен. – Но я думал, что зимой и ночью охота запрещена. Не хотите ли стаканчик коньяку?

– Не откажусь, – отвечает нотариус. – Правила охоты вы знаете, многоуважаемый; но кто же будет применять их в этой затерянной стране? Это место браконьерства по преимуществу; попасть сюда можно только через мост в Ганьяке, в расстоянии одного лье. А потому браконьеры охотятся здесь сколько их душе угодно и в лесу, и на воде; в хорошую погоду нередко можно видеть, как они ловят форель с вязанкой пылающей соломой вместо фонаря, несмотря на все декреты префектуры.

– А жандармы?

– Ну, они больше не страдают иллюзиями. Курьезное совпадение: каждый раз, когда они переходят мост, извозчик, хижина которого рядом с мостом, испытывает необходимость побывать в своем саду и зажигает для этого фонарь, который виден издалека. И немедленно огни, бороздившие реку, потухают, а ружья становятся на свои места, в ружейные козлы. Терпя постоянные неудачи, жандармы наконец отказались от облав. Вот и мне случается – что делать, слабость! – пользоваться этим, когда представляется случай.

– Есть у вас новости от доктора Кодра, господин нотариус? – спрашивает Гартог.

– За последние дни нет. В последний раз это было в тот день, когда я получил его инструкции насчет составления договора. Я даже надеялся встретить его здесь. Как бы то ни было, но он, вероятно, не замедлит прибыть.

– Ведь это именно сегодня вечером договор должен быть

засвидетельствован вами, если я хорошо понял ваши объяснения? – снова спрашивает Гартог.

– Именно сегодня вечером, – отвечает нотариус.

– Таким образом, – продолжает Гартог, – если мы его подпишем, то мы будем связаны обязательством, а он нет. Контракт был бы тогда односторонним.

Жизнерадостный сельский нотариус хмурится.

– Разве вы, сударь, склонны усомниться в слове моего почтенного клиента? – спрашивает он.

– Нисколько, – возражает Гартог, – но если господин Кодрсчел нужным связать нас с собою договором, то я считаю, что связь должна быть взаимной, иначе акт не имеет никакого значения.

Нотариус смерил взглядом своего собеседника:

– То, что вы говорите, сударь, вполне справедливо, и я вижу, что вы знаете толк в делах.

– Эти дела были когда-то моей профессией.

– Это и видно. Так вот, если вы не считаете возможным доверить моему клиенту на те несколько дней, быть может, несколько часов, которые пройдут до его прибытия, то вместо него подпишу я: у меня есть на это полномочия от него.

– Это разрешает все вопросы, дорогой господин нотариус, и мы вас слушаем, – решает Гартог.

Нотариус, очевидно, шокирован тем, что он считает как бы признаком недоверия, и, вынимая из своего портфеля бумаги договора, он не может удержаться, чтобы не высказать

своего неудовольствия.

– Я не знаю, сударь, – говорит он, обращаясь к Гартогу, – отдаете ли вы себе отчет, насколько неучтиво по отношению ко мне ваше подозрение. Прошу вас не забывать, что я официальный и законно утвержденный министерский чиновник. Я не взял бы на себя защиту интересов Кодра, если бы не питал самого высокого уважения к его характеру и к его нравственным качествам.

– Разделяю ваши чувства, господин нотариус, – говорит Корлевен.

– Имеете ли вы какие-нибудь причины, Гартог, поступать таким образом? – спрашиваю я.

– А вы что скажете, Флогерг? – спрашивает Гартог, не отвечая.

– Я не составил себе мнения по этому вопросу, – отвечает Флогерг.

– Господа, – снова говорит Гартог, – я желаю раз навсегда осветить положение вещей. Мы собрались здесь для того, чтобы заниматься не сантиментами, а делом. Будем же трактовать вопрос, как дело, то есть с точки зрения, совершенно исключаящей личные вопросы. Акт, который мы должны подписать после его второго чтения, должен определить ясным образом права и обязанности каждого из договаривающихся. От этой ясности, от тщательности, с которой мы ее установим, будет зависеть будущее выполнение наших условий. А если включать между строк контракта разные невесомые

мые величины, то лучше совсем не составлять его. Вначале, пока необходима общая работа, – все идет хорошо; но лишь только начинают реализоваться результаты – вступает в свои права личный интерес, и всякий пропуск, всякая неточность в параграфах немедленно становятся зародышами для спора и для процесса. Лучший способ избежать их состоит в том, чтобы составлять договор так, как будто договаривающиеся стороны совершенно не знают друг друга. Таково мое мнение, оно не обязывает никого, кроме меня, но я твердо буду отстаивать его, поскольку это касается меня.

– Честное слово, – сказал Флогерг, – мне очень нравится ваш способ высказывать свою мысль, Гартог. У каждого свои способности, и раз нам суждено быть связанными вместе, то пусть каждый из нас использует для блага всех нас свои личные знания. Дела – это ваша сфера; я поручаю вам с самого же начала мои интересы... не отказываясь от контроля.

– Пусть так! Говорите же от нашего имени, Гартог, – сказал, подумав, Корлевен. – Это и ваше мнение, Гедик?

– И мое.

– Должен ли я заключить из этого, – сказал нотариус, слегка выбитый из седла, – что содержание акта подвергается сомнению?

– Ни в малейшей степени, дорогой господин нотариус, – сказал добродушно Гартог, – и вы сейчас увидите, что все устроится к лучшему, потому что все мы подходим к делу добросовестно... оно и стоит того. Именно для того, чтобы

закрепить его, мы и постараемся согласиться между собою. Содержание вашего акта было превосходно, и только в некоторых деталях я буду просить вас сделать кое-что более точным.

Нотариус как будто прояснился; он роздал каждому из нас по экземпляру своего произведения на гербовой бумаге, прочистил голос коротким кашлем, допил стаканчик коньяку, обсосал влажные усы и принялся читать докторальным тоном, так расходившимся с его внешностью доброго малого:

– «Перед нами, нотариусом Бикокке из Болье, призванным в качестве нотариуса, согласно просьбе нижепоименованных договаривающихся сторон, в место, именуемое замок Ла-Гурмери, коммуны Ганьяка, кантона Болье, департамента Коррезы – предстали:

С одной стороны: господин Эварист Кодр, землевладелец, каковой, для заключения настоящего акта, избрал вышеназванное место.

С другой стороны, господа: Симеон Гартог, финансист, Эрве-Ивон Корлевен, капитан дальнего плавания, Гектор Флогерг, предприниматель, Жан-Анри Гедик, инженер, – каковые объявили, что для заключения настоящего акта избирают то же самое вышеназванное место.

Вышепоименованные лица заключили между собой следующие условия:

Параграф первый. Между договаривающимися сторона-

ми учреждается ассоциация, целью каковой является эксплуатация одного открытия палеографического характера, последствия которого касаются космогонии, палеонтологии, геологии, геогнозии и финансов».

Я должен извиниться, — сказал нотариус, — что включил эти абстрактные термины в конкретный акт, но они были продиктованы мне моим клиентом, который предоставляет себе разъяснить их вам лично.

И он продолжал:

— «Параграф второй. Сверх результатов своих изысканий, господин Кодр вкладывает в ассоциацию свои денежные средства и обязуется покрывать расходы при всяком перемещении и путешествии, каковых может потребовать эксплуатация вышеупомянутого открытия, равно как и всяческие расходы, без исключения, по пропитанию, помещению, одежде и текущим расходам содоговаривающихся на время действия этого договора об ассоциации.

Параграф третий. Господа Гартог, Корлевен, Флогерг и Гедик обязуются каждый за себя и все вместе следовать за господином Кодром в такие части света, в какие ему заблагорассудится направить изыскания, и оказывать ему и физическое и интеллектуальное всемерное содействие во всех обстоятельствах, когда он этого потребует, будь то днем или ночью.

Параграф четвертый. В том случае, если результат изысканий будет отрицательным, господни Кодр обязуется за



свой счет доставить на родину договаривающихся с ним вышепоименованных лиц и вручить каждому из них сумму по тысяче франков за каждый месяц со дня подписания настоящего договора до дня прекращения действий ассоциации.

Параграф пятый. В случае положительного результата прибыли ассоциации будут разделены нижеследующим образом:

Господину Кодру – все результаты, приобретения или открытия научного рода.

Господам Гартогу, Корлевену, Флогергу и Гедику – все результаты финансового рода, за вычетом произведенных расходов, каковые будут возвращены господину Кодру, причем общая сумма будет разделена на четыре равные части между четырьмя вышепоименованными лицами.

Параграф шестой. Ввиду необходимости сохранить тайну открытия настоящим заявляется, что в случае кончины одного из четверых вышепоименованных лиц, какова бы ни была ее причина, причитающаяся ему часть будет разделена между пережившими его, при совершенном исключении всякого прямого или непрямого наследника, права которых ограничиваются таким образом только имуществом, ныне принадлежащим каждому из вышеназванных четверых лиц.

В случае преждевременной кончины господина Кодра, общая прибыль, полученная от открытия, остается собственностью остальных содоговаривающихся лиц, при обязательстве их выполнить научное завещание покойного.

Параграф седьмой. Настоящая ассоциация заключается сроком на пять лет и возобновляется по взаимному желанию договаривающихся сторон. Срок этот, однако, может быть сокращен по их единогласному решению.

Параграф восьмой. Для оплаты гербовым сбором настоящего договора, расходы, предназначенные на вышеназванное предприятие, исчисляются приблизительно в сумме ста тысяч франков, каковая сумма может быть, однако, увеличена.

Составлено в количестве экземпляров, равном числу содоговаривающихся, на гербовой бумаге, ценностью в четыре франка, нами, нотариусом Бикоке из Болье, в вышепоименованном замке Ла-Гурмери, коммуны Ганьяка, и прочитано содоговаривающимися в присутствии сторожа выше-названного замка, сударя Гаспара Гурля, каковой и подписался вместе с содоговаривающимися.

Составлено в Ла-Гурмери, близ Ганьяка, 21 января 192... года».

Прочтя это, нотариус продолжал:

– Согласно полученным мною от моего клиента указаниям, первое чтение проекта этого контракта было произведено мною сего тринадцатого января...

– В пятницу, – заметил озабоченный Флогерг.

– ...И вам была предоставлена, – продолжал нотариус, – неделя на размышление принять или не принять заключающиеся в нем условия. Так как неделя заканчивается сего-

дня в полночь (он посмотрел на часы), то вам остается еще час с четвертью, чтобы согласиться или отказаться. Само собою разумеется, что вам предоставляется свободный выбор и что в случае вашего отказа вы получите возмещение расходов для возвращения в Париж и сверх того вознаграждение в размере пятисот франков каждый. Теперь я вас слушаю, господин Гартог.

Гартог справился со своими заметками, которые он набрасывал во время чтения нотариуса, и затем начал:

– Вступительный пункт: я требую, чтобы местожительством содоговаривающихся был назван Париж, а не Ганьяк.

– С какой же целью? – сказал удивленный нотариус.

– Обращение в суд в случае спора происходит по местожительству, – пояснил Гартог. – Местом моего действия в будущем не будет департамент Коррезы, и я желаю, чтобы мне не встретилось необходимости в бесполезных поездках.

– А вы предвидите судебный спор?

– Его никогда не предвидят, когда подписывают контракт. Он почти всегда возникает, когда контракт приходит в действие.

– Но ведь... для регистрации...

– И для составления новых актов, которые могли бы вытечь из первого, – улыбнулся Гартог. – Я вас понимаю, господин нотариус, и вполне одобряю. Каждый заботится о своих собственных интересах. Но вот так можно устроить все к общему удовольствию: вы прибавите примечание, в котором

будет предусмотрено, что всякая тяжба в трибуналах департамента Сены должна будет пользоваться нотариальными актами, исходящими из вашего округа. Подходит ли это вам?

– Я не вижу в этом большого неудобства, – сказал нотариус.

– А вы, господа?

– Никакого.

– Никакого.

– Никакого.

– Значит, это принято. Параграф третий: об оказываемом нами содействии. Я желал бы, чтобы в этот параграф была вставлена оговорка, ограничивающая пределы этого содействия. По смыслу параграфа выходит, что мы даем доктору Кодру над собою право жизни и смерти.

– Простите, – перебил Корлевен, – но я полагаю, что именно таким образом дело и должно обстоять. Мне кажется, что подобное предприятие не может обойтись без некоторого риска; и что осталось бы от договора, если бы мы имели право рассуждать об этом риске, когда придет критический момент? Я возражаю против всякой оговорки или прибавления к этому пункту.

– Тем более, – поддержал я, – что доктор Кодр, действуя так, располагал бы только вещью, которая принадлежит ему в действительности, так как без него...

– Я настолько не дорожу своей шкурой, – с горечью сказал Флогерг, – что не стоит пачкать контракт ради ее защиты.

– В таком случае я не буду настаивать, – ответил Гартог. – Пункт пятый: раздел прибыли. Определение – «результаты, приобретения или открытия научного рода» – слишком туманно; можно открыть золотые монеты, древность которых будет иметь ценность научную, а золото их – ценность денежную; можно найти статую, драгоценности, мало ли что еще, и господин Кодр будет в праве требовать их от имени науки, а одно уже перечисление возможных последствий его открытий, сделанное в параграфе первом, достаточно показывает, что мое возражение обоснованно; ведь этот пункт предвидит пять возможных последствий научного рода и только одно – финансового. Я не хочу оскорблять доктора Кодра, подозревая его намерения, но предлагаю следующий дополнительный текст: «В том случае, если один и тот же предмет одновременно будет иметь ценность и научную и денежную, то существенная ценность означенного предмета считается независимой от той, которую может прибавить ей его научное или антикварное значение: означенная ценность будет тогда возмещена четверым содоговаривающимся, и господин Кодр, уплатив таким образом ее стоимость, становится единственным владельцем означенного предмета».

– Нет никакого сомнения, – сказал нотариус, – что это вполне в духе всего контракта, составленного господином Кодром. Беру на себя включение этого пункта.

Это, по-видимому, очень успокоило Гартога, который,

быть может, готовился к упорному спору по поводу этого важного пункта.

– Это все? – спросил нотариус.

– Все, если речь идет об исправлениях. Но остается еще один пункт, который требует для меня пояснения: с какой целью параграф шестой воспрещает наследование доли умершего члена экспедиции?

– Я поставил этот вопрос моему клиенту, – сказал нотариус. – Он очень кратко отвечал мне, что на это у него есть свои причины и что он их вам изложит лично. Если бы вы настаивали на изменении этого пункта *sine qua* поп, во что бы то ни стало, то мне было бы невозможно пойти вам навстречу.

– Я не сказал, что пункт этот надо изменить, так как, что касается меня, у меня нет наследника. Я хотел знать, вот и все. Я подожду.

– А вы, господа? – спросил нотариус, обращаясь ко всем нам.

Общий отрицательный жест подтвердил решение Гартога.

– Итак, если я хорошо понял, то по внесении вышеуказанных дополнений вы готовы подписать договор? – сказал нотариус.

– Готовы.

– Превосходно. Я только впишу дополнительный пункт – и тогда попрошу вас подписать.

Первой шла подпись Гартога, крупная, массивная, плотная, подобранная, такая, каков и сам он в своем внешнем облике. Общая решительная черта, коротко оборванная и твердо проведенная, перечеркивала «Г» и делала черточку над «т». Другая черта, очень короткая, подчеркивала подпись и заключалась очень четкой точкой.

Затем шла подпись Корлевена, связанными, округленными и законченными буквами. Она начиналась инициалом его имени и заканчивалась простым росчерком, слегка намеченным, идущим горизонтально.

Потом подпись Флогерга: буквы нервные, торопливые, дрожащие, неудобочитаемые, с длинным росчерком, усложненным нерешительными завитушками и чернильными брызгами.

Я последним из четверых присутствующих подписал не волнуясь пять экземпляров договора.

– А теперь, господа, – сказал нотариус, – будьте добры ознакомиться с данной мне доверенностью – вот она – и сообщите мне, считаете ли вы ее достаточной для приложения к настоящему акту, чтобы узаконить пятую подпись – мою подпись.

Гартог пробежал доверенность и объявил, что вполне удовлетворен ею, после чего протянул ее нам.

– Не к чему, – сказал Корлевен. – Я считаю, что вы имеете достаточный опыт в бумажных делах подобного рода. Если вы считаете эту доверенность достаточной, значит, она такова и есть.

Я ограничился тем, что отклонил ее жестом, как и Флогерг.

– В таком случае, – продолжал нотариус, – мне остается только подписать.

– Вы, должно быть, устали, дорогой нотариус, – сказал носовой голос, раздавшийся с потолка. – Вас ожидает тепло нагретая постель. Я сам окончу дело с этими господами.

На деревянной галерее, обходившей вокруг залы и шедшей к верхнему этажу левого крыла замка, стоял гном и, казалось, восхищался тем, что стал внезапной целью пяти пар изумленных глаз.

Произведя этот эффект, он уверенными шагами спустился по ступеням лестницы галереи и подошел к нам, покачиваясь на своих кривых ножках и с удовлетворением потряхивая большой своей головой.

Я никак не думал, что в его худых руках могло быть столько силы, с какою он сжал мою руку в своей, пожав руку моим товарищам.

– Долго ли вы слушали нас, доктор? – спросил взволнованный нотариус.

– Хе-хе! – ответил гном со своим невыносимым зубокальством. – Достаточно долго, чтобы иметь право побла-



годарить вас, господин нотариус, за добрые услуги и чтобы иметь удовольствие оценить юридические познания господина Гартога.

Двойная защита его глаз – очки и густые брови – сделала невозможным разобрать, смеются ли или мечут молнии страшные глаза старика. Гартог принял вызов:

– Должен ли я понять, господин Кодр, что мои поправки вами не одобряются?

– Что вы, нисколько, – ответил Кодр, – нисколько, наоборот. Я небольшой знаток в юридических делах, но, не говоря уж о том, что я вполне доверяю мудрой предусмотрительности нотариуса Бикокке, – который падает от усталости и сейчас пойдет спать, – я считаю еще, что договор, который обсуждают, есть договор, который собираются выполнять, а это может только нравиться мне.

– Но, доктор, если я могу еще быть полезен вам, – сказал Бикокке, – то, пожалуйста, располагайте мною.

– Бесконечно благодарен, дорогой мой господин нотариус. Но нам с этими господами придется беседовать еще долго, и ваши знания в этом случае уже не могут понадобиться. Эй, Гаспар!

Это явное прощание, и нотариус больше не настаивал.

– Гаспар, ты проводишь господина Бикокке в его комнату и позаботишься, чтобы он ни в чем не испытал недостатка. Потом ты вернешься выслушать мои распоряжения.

Когда сторож поставил на стол графины с вином и удалился, отпущенный гномом, этот последний налил в наши стаканчики ароматную и искрящуюся жидкость, загоревшуюся карбункулами от отблесков огня.

– Это ликер монахов, ныне живущих в Алжире, – сказал Кодр. – У меня осталось только несколько бутылок, а закон о конгрегациях и изгнание монахов из Франции прекратили новую выделку. Надо отдать справедливость религиям, что ликеры, производимые их священнослужителями, вообще говоря, превосходны на вкус. Этот ликер – жидкое золото... и это как нельзя более уместно, вы это сейчас увидите, хе-хе!

Гном не преувеличивал. Мы омочили губы этим нектаром, и он продолжал:

– Господа, вот пять договоров, в них не хватает только моей подписи, чтобы дать им силу закона, потому что обязательства не могут быть односторонними... не правда ли, господин Гартог?..

Гартог поклонился не сморгнув.

– Эта подпись отныне обеспечена, не сомневайтесь в этом. Но и раньше я хотел дать вам время на размышление перед подписанием предложенного контракта, и теперь я хочу еще оставить вам возможность уйти, в случае, если изложение

того, что я ожидаю от вас, заставило бы вас пораздумать. Я обязуюсь немедленно освободить от всех обязательств того из вас, который после моих слов пожелал бы выйти из дела.

– Это называется вести игру честно, – сказал Корлевен.

– Мы слушаем вас, – сказал Гартог.

Флогерг подбросил новое полено в огонь и снова сел рядом с нами у стола.

– Господа, – продолжал гном, – вы должны знать, что лишь по серьезным причинам отобрал я среди стольких других четверых людей, окружающих меня теперь. Не думаю, чтобы я ошибся: люди, подобные вам, которым жизнь сумела внушить такую ненависть, что они пожелали уничтожить ее в себе, будут обладать силою воли большей, чем кто бы то ни было, если я дам им возможность восторжествовать над жизнью и над теми, кем она воспользовалась, чтобы привести этих людей к такому мрачному решению; если я дам этим людям такую возможность отыгаться, какую они не дерзнули бы предположить в своем самом возбужденном воображении; если дам им решительное средство властвовать над их подобными...

– Кого называете вы моими подобными? – прервал своим трагическим голосом Флогерг. – Тех, которые своим эгоизмом, тщеславием, карьеризмом, хищностью сделали наши существования ступеньками, чтобы идти вверх? Тех, дерзкий успех которых создан был из лучших сил наших жизней, тех, которые перерезали стенами наши жизненные пути, ис-

пользовали нашу силу и отбросили нас, достигнув успеха? Наши подобные, господин Кодр, если такие у нас есть, только тогда будут признаны нами, когда они стушуются и добровольно сойдут в безмерное ничтожество. Все другие – не наши подобные: они просто люди!

– И женщины, – прибавил я вполголоса.

Один только Корлевен услышал мои слова. Он повернул ко мне свое красивое открытое лицо с честными глазами, лицо, на котором с первого дня, как я его увидел, я различил, как мне казалось, дружбу; и он мягко прошептал:

– А, так это женщина?.. Я так и думал; но вы так еще молоды!..

– Прекрасно! – сказал гном. – Именно такими я и считал ваши чувства. Но я не хочу взять вас врасплох, изменнически. Вы, господин Гартог, выразили опасение, чтобы предположенная мною экспедиция не представила для вас – а я прибавлю: и для меня – смертельной опасности?.. Это опасение основательно. Быть может, уехав впятером, мы вернемся в меньшем числе; быть может, даже и никто из нас пятерых не вернется. Быть может, мы идем навстречу громадным опасностям; быть может, опасностей не будет никаких. Это – единственное, чего я не знаю; но я хочу, чтобы, каковы бы ни были опасности, люди, сопровождающие меня, были тверды; и я не допущу в тот момент ни малейшей слабости.

В серо-зеленых глазах этого человека есть металлическая искра, придавшая его последней фразе такой вес, который

не позволяя сомневаться, что в нужную минуту он сумеет потребовать; резкий его голос звучал непоколебимым решением. Гартог, на которого он смотрел в упор, склонил голову, но все же спросил:

– Клянетесь ли вы нам, что сокровище существует?

– Клянусь.

– Клянетесь ли вы нам, что оно представляет собою то, что вы говорите, и даст нам власть, о которой вы говорите?

– Клянусь.

Гартог покачал головой.

– Последний вопрос: зачем от раздела сокровища устраняются наши возможные наследники?

– Затем, чтобы избежать права других требовать от нас отчета; затем, что сокровище это практически беспредельно и что источник его должен оставаться строгой тайной. Я – знаю, и я хочу. А вы – хотите?..

Гартог посмотрел в упор в глаза старого Кодра, и тот ответил острым взглядом, не мигая.

– Хочу, – сказал Гартог угрюмым тоном.

– Хочу, – ворчливо сказал Флогерг, озаренный мыслью о безжалостной мести.

– Хочу, – бросил Корлевен, точно скептический и твердый вызов судьбе, в которой он знал только противника...

– Хочу, – прошептал я напряженно, точно молитву.

Гном обвел нас блистающим отсветом своих очков.

– Ладно! – сказал он. – Я на это надеялся.

И, не колеблясь более, он поставил на каждом листе свою подпись, которая решила наши судьбы.

В Гартоге снова заговорил деловой человек.

– Надо подписать и дополнительный пункт, – сказал он.

Кодр усмехнулся и исполнил это, а затем дал каждому из нас по экземпляру договора.

– Его надо зарегистрировать, – прибавил Гартог.

– Для этого нотариусу Бикоке достаточно будет одного моего экземпляра.

Гартог поклонился в знак согласия.

– Теперь уже половина первого ночи, – сказал Кодр с ехидной улыбкой. – Быть может, вы хотите отложить продолжение разговора до завтра?

– Отложить разговор в то мгновение, когда мы наконец узнаем?.. Очень нам нужно спать!

– Раз это так, господа, – сказал Кодр, – то слушайте меня.

# Глава III

## Тайна доктора Кодра

– Мне хотелось бы, – начал удивительный старик, – иметь возможность изложить вам с одного, так сказать, маха единственный пункт моего открытия, который касается вас, исключив все те пункты, которые представляют интерес только для меня. Но различные нити этого открытия переплетены так тесно, что я вынужден рассказывать о фактах именно в таком порядке, в каком они последовательно проходили в моих изысканиях, – иначе вы не поймете.

Я прошу вас, господа, выслушать все это с самым глубоким вниманием. Заранее извиняюсь, что многие пункты моего изложения могут показаться сухими для вашего непривычного слуха. Но все это, хоть и в разной степени, все же связано с интересующим нас выводом.

Сказав это, Кодр встал, обошел комнату, открыл двери, окинул взглядом коридоры, закрыл двери, затем снова уселся и вполголоса продолжал:

– Вы имеете, вероятно, некоторое понятие о великом споре, который вызвали в прошлом столетии теории Чарлза Дарвина. Этот выходец из школы духовенства противопоставил простой формуле творения мира, изложенной в Книге Бытия, неизмеримо более сложную формулу, имевшую, однако, то преимущество, что она не вводила никакой тайны

и опиралась на огромное количество доказательств научно-го порядка, чрезвычайно убедительных. Теория эта, как известно, вызвала в обществе большое смятение.

В ней было двойное неудобство: во-первых, она уничтожала необходимость Божьего вмешательства в творение мира, а во-вторых, налагала на человека тяжелую обязанность – отказаться от убеждений, которые не требовали других усилий, кроме неразумного атавистического доверия к словам Священного Писания, для того чтобы принять теорию, опирающуюся только на разум и наблюдения, но требовавшую для своего понимания настойчивых усилий и углубленной работы.

Мне незачем рассказывать вам, насколько холодно встречена была эта теория духовенством, ненужность которого она так нескромно доказывала. Двинулись в поход все митры и посохи, теологический вихрь зашумел в статьях, и все церковные пушки гремели вместе с общим хором против незвано явившейся теории, которая заменяла естественным объяснением догмы, то есть нечто такое, что от века отказывались объяснять. Вы все имеете понятие о том, что такое дарвинизм?

– Антропологическая система, которая выводит происхождение человека от обезьяны, – ответил Гартог.

– Это, в общем, единственное определение, известное большинству, – сказал Кодр. – И это как раз единственный вывод, которого не сделал из своих положений Дарвин.



Правда, оксфордский епископ, сэр Уилберфорс публично спрашивал у Гексли, ученика Дарвина, кого он считает первым в этом обезьяньем ряду – своего дедушку или свою бабушку; на это он получил, впрочем, ядовитый ответ: лучше иметь предком гориллу, чем невежду, рассуждающего о совершенно неизвестных ему вопросах.

Я не стану объяснять вам ни отличия теории Дарвина от очень близких теорий его предшественника Ламарка, ни мнения по этому вопросу Жоффруа Сент-Илера, Лайеля, Вейсмана и Кона, – это увлекло бы нас слишком далеко.

Факт тот, что в настоящее время ни один ученый, будь он последователем неodarвинизма Вейсмана, или неоламаркизма Кона, не принимает более мифа Книги Бытия, несмотря на авторитет Кювье и на доводы Энипаля и аббата Казамайера.

Сущность теории заключается вот в чем: ныне существующие животные виды начальным источником своей жизни имели бесконечно малую инфузорию. Этот эмбрион живой клетки, появившийся в результате самопроизвольного зарождения, подвергался в течение доисторических веков естественному отбору, который в последующих поколениях этих начальных существ развивал и совершенствовал новые органы, необходимые в новых условиях жизни, а условия эти испытывали последовательные изменения во время различных эпох образования земли. Таким образом животное царство постепенно развивалось, пока достигло современного

нам развития.

Не беспокойтесь, я не буду приводить полемические аргументы за или против. Ими можно было бы заполнить целую библиотеку. Во всяком случае, неоспоримы два факта.

Во-первых: современный человек по своему общему строению аналогичен существам, ныне исчезнувшим, которые господствовали среди млекопитающих в эоценовый период.

Во-вторых: человекоподобная обезьяна ничем существенным не отличается от человека.

Оуэн предполагал, что у человекоподобных недостает некоторых частей человеческого мозга. Эти части нашел и показал Гексли.

Доказывали также, что объемы черепа самой высшей обезьяны и самого низшего доисторического человека относятся друг к другу, как единица к двум. Это был серьезный аргумент – до 1892 года, когда доктор Дюбуа нашел на острове Ява череп существа, промежуточного между обезьяной и человеком, так называемого питекантропа. Правда, что противники эволюционной теории, не найдя других доказательств, объявили, что это череп идиота.

Коротко говоря, как бы современные палеонтологические открытия ни видоизменяли эволюционную теорию, теперь всеми признано, что эта теория превращения видов заключает в себе основную истину о происхождении современных рас, а это окончательно уничтожает библейскую легенду о Ное, его ковчеге и трех сыновьях Ноя, вновь размноживших-

ся на опустошенной потопом земле.

Но есть одно обстоятельство, которое явилось бы в этом вопросе неопровержимым доказательством. Надо доказать, что в то же самое время, когда жили расы, происшедшие, как говорили, от Сима, Хама и Яфета, существовала еще и другая человеческая раса, представляющая в своем строении по сравнению с первыми существенные различия, и что раса эта жила и размножалась в части света, совершенно неизвестной для так называемых библейских рас, в части света, недоступной при их первобытных способах мореплавания.

Чем же была земля для современников Гомера, то есть лет три тысячи тому назад? Широким, плоским кругом, центром которого являлась Греция, а в Греции – Дельфы. Все земли, о существовании которых было известно, омывались Средиземным морем. За этим простиралась широкая лента воды, уходящая в неизвестное: река Океан.

Во втором веке нашей эры карты Птолемея заключали в себе только часть Европы, центр и юг Азии, север и центр Африки. Остальная часть света была тогда еще совершенно неизвестна, и только 430 лет тому назад прогресс судостроения и мореходной науки позволил плывущим наудачу каравеллам Колумба открыть Новый Свет.

И этот Новый Свет был заселен человеческой расой, уже очень отличной от известных рас.

Это было исходным пунктом моих изысканий. Не буду вам рассказывать, ни каким образом цепь открытий приве-

ла меня к доказательству существования в Америке человека доледниковой эпохи, ни о том, какие гонения посыпались на меня в моей юности, когда я доказал этот факт. Невежество, предрассудки, схоластика объединились против меня и довели меня, меня также, почти до того самого положения, из которого я извлек вас. Я был начинающий, я должен был сдаться, но в глубине души я сохранил горечь, какая была в сердце Галилея, когда он должен был признать перед инквизицией, что земля не вращается. Я стал бороться за жизнь — и я победил в других областях.

Но первый вопрос, в котором я отступил, всегда оставался в моем уме как недостаточно решенный. Судьбе угодно было, чтобы в мои руки попали доказательства, которым суждено решить вопрос.

\* \* \*

Старый доктор достал туго набитый портфель и затем продолжал:

— Состояние мое было обеспечено, и три года тому назад я снова взялся за брошенное изучение антропологии американских народов. Среди многих пунктов особенно два обратили на себя мое внимание.

Первый был следствием того, что мне удалось дешифровать целый ряд иероглифов, скалькированных на полуострове Майя с недавно открытого погребального памятника

племени аймара. Надпись эта представляла бесспорный интерес, если иметь в виду, что она – одна из немногих надписей, уцелевших от разрушения их испанскими монахами, которые делали это при завоевании Перу под видом уничтожения идолов.

Аймары – родоначальники мексиканцев – являются племенем перуанской расы, родоначальником которой является племя кичуа; это доказывает аналогия между их современными языками, так что родственная связь между ними несомненна.

На скалькированной надписи, о которой я рассказываю, я дешифровал слова, устанавливающие титулы и имена покойника, бывшего из расы инков, которая в глазах туземцев является Божественной; но, кроме того, я установил факт потрясающего интереса.

Очень длинная и слегка испорченная надпись устанавливала генеалогию покойника. Она заключала в себе имена и нечто вроде дат, исчисленных по особому календарю.

Из сочинений Диего де Ланда я знал, что монахи, прежде чем разрушить надписи, сумели разобрать некоторые из этих похоронных календарей. Неделя состояла в них из 20 дней, а год – из 18 недель.

Но дело в том, что генеалогия, о которой я рассказываю, заключала в себе количество имен, значительно превышающее число царствовавших в Перу инков, ряд которых идет от Манко Канака, основателя династии Пируа. Вот, кстати,

копия этой надписи.

Доктор развернул перед нами четыре листа большого формата, на которых были нарисованы странные иероглифы. На правой стороне первого и на левой стороне последнего листа рисунки были достаточно разборчивы. Это были довольно тонко вырезанные фигуры птиц, рыб, листьев и змей, переплетенных различным образом. Некоторые из этих фигур составляли целые сцены: мужчины, женщины или дети, иной раз стоящие под деревом; странные животные в разных положениях, с человеческим телом и кошачьей головой, выделялись среди этих рисунков. Все это в общем представляло вид сложного ребуса. Конец первого листа, начало четвертого и почти целиком второй и третий листы представляли собою только разрозненные обрывки, реконструкция которых была невозможна. Кодр продолжал:

– На памятнике рисунки были высечены с четырех сторон, но заступы и мотыги, которыми производились раскопки, оставили в целости только начало и конец надписи.

И вот не только имя первого из известных царей инков находится на четвертой и последней стороне, но имя это предшествоется еще другими, совершенно неизвестными в истории. Можно предполагать, что этот генеалогический ряд восходил, таким образом, по двум испорченным сторонам памятника, раз мы находим начало этого ряда в левом углу первой стороны.

Царствование Манко Канака восходит к середине X века

нашей эры, то есть тогда, когда во Франции царствовал Людовик Четвертый. Сумев таким образом на основании этой известной даты установить точность палеографической системы, употреблявшейся Диего де Ланда для определения календаря майя, я уже без большого труда установил даты, соответствующие первым именам, написанным на первой стороне памятника. Каково же было мое волнение, когда я установил, что начальная дата, сопутствовавшая первому имени, тому, которое, как кажется, произносится «*Инти*», что на языке кичуа означает «*Солнце*», — что дата эта, по-видимому, соответствует нулевому году их летоисчисления и что эпоха, протекая между этой начальной датой и последней, заканчивающей надпись, определяется, если верен мой способ перевода, числом приблизительно в *тридцать тысяч лет!*

Этот факт привел меня к изучению второго пункта: происхождения и истории расы инков. Ранее 950 года нашей эры нет еще никакого следа этой расы. Только в эту эпоху первый из известных нам инков, Манко Канак, становится царем в Перу и царствует в Куско, своей столице. Согласно легенде, он сошел с солнца, он одновременно и царь и бог; род его священен; он располагает жизнью и смертью своих подданных.

Надо теперь же отметить черты, доказывающие древность этой расы, и чрезвычайные предосторожности, принимавшиеся инками, чтобы сохранить чистоту крови: мальчики

женились на собственных сестрах. Сам Манко Канак был женат на сестре своей, Мама-Элло-Гуато. Он точно с неба сошел, с целым социальным устройством, будто вышедшим из головы Бога, устройством, ни в чем не похожим на общественное устройство самых цивилизованных народов той эпохи и являющимся с первого же взгляда далеко шагнувшим вперед.

Вся страна делится на кланы, называемые «айла», каждым кланом управляет ответственный начальник, «еврака». Земли разделены на государственные, церковные и общественные. Это – теократия, которая во многих отдельных случаях может поучить демократию, ибо царь-бог пользуется своей неограниченной властью мягко и лишь для блага своих подданных. Во всей династии Пируа нельзя найти имени ни одного тирана. И когда в 1527 году испанский авантюрист Писарро со своей шайкой завоевывает Перу, то ему приходится не воевать с воинами, но просто избивать и вырезывать эту миролюбивую расу.

Могут ли сами собою появиться такая мудрость, такая умеренность в науке управления народами? Вся мировая история достаточно опровергает такую возможность.

Поэтому мне показалось логичным допустить, что первый из инков, царствовавший над Перу, получил свою власть и способы управления от длинного ряда своих предков. А между тем неизвестен ни один из его предков.

Другое замечательное указание: кому поклоняются инки?



Солнцу. Какое имя находится во главе испорченной генеалогии, о которой я вам рассказал? *Инти*, солнце. Какой первый видимый фетиш, который мог поразить воображение смертных и до появления огня мог даже послужить таящемуся в них чувству поклонения и тайны? Солнце. Откуда, согласно легенде, нисходит божественная раса инков? С солнца!..

По мере того как маленький старик разворачивал перед нами свои тайные размышления, лицо его загоралось энтузиазмом, и никто из нас четверых, ловивших каждое его слово, уже не относился с насмешкой к его уродству. Он продолжал:

– Следите по надписи за начальной генеалогией: этот значок, следующий за *Инти*, может быть переведен как «жизнь», и произносится «*Гага*» или «*Гана*»; за ним следует «*Уарми*» – женщина; затем «*Ики*» – сон; затем «*Гигуа*» – смерть. Какому таинственному циклу соответствуют эти имена? Если обратиться к сопровождающим их датам, то можно думать, что эта затерянная в доисторическом мраке раса через бесчисленное число последовательных поколений, шагая через прах неведомых веков, произвела на свет Манко Канака и его сестру; раса эта для наименования первых своих властителей выбрала слова, обозначающие первые явления, поразившие зарождающееся сознание: Солнце, Жизнь, Женщина, Сон и Смерть.

Здесь останавливается ряд имен, имеющих значение в известном языке. Я попрошу вас, однако, запомнить и после-

дующие имена, с которыми мы, как вы увидите, еще встретимся.

Он указал пальцем на различные значки, разбросанные среди надписей листа:

– *Томо-Аи... Томо-Эри... Гугу... Маро-Геи... Ума-Рива... Винапу.*

Он еще раз показал и снова повторил эти имена, словно желая запечатлеть эти созвучия в нашем мозгу. Потом он продолжал:

– Я дошел в своих изысканиях до этого пункта и был сильно заинтересован, почти испуган открывавшимися перспективами, но был и очень озабочен выбором пути, который позволил бы мне продолжать изыскания, так как я исчерпал все, что мог извлечь из надписи погребального памятника. Чудесный случай открыл мне беспредельные горизонты.

Путешествие в Лондон, вызванное необходимостью других изысканий, привело меня однажды в Британский музей. Я использовал этот случай, чтобы изучить находящуюся в этом музее превосходную коллекцию по искусству доисторических народов.

Между прочим, я обратил внимание на огромную человеческую голову, диаметром приблизительно в два метра, высеченную из черного трахита вулканического происхождения и представляющую резко выраженные черты лица: эллиптические глаза, низкий лоб, короткая шея, уши с большими мочками. На голове было нечто вроде цилиндра из

красноватого камня, и головной убор этот имел отдаленное сходство с таким же убором египетских фараонов; но голова не была похожа ни на одну из известных на земле рас.

Но что особенно и внезапно возбудило мое внимание, так это полустертый иероглиф посредине этой тиары, иероглиф, который можно было бы принять просто за стертое украшение, но который, помнилось мне, я уже видел где-то, хотя и не мог вспомнить, где именно.

Я справился в каталоге; там стояло:

*Миссия Г. Вер-Беркли, 1897 год.*

*Голова статуи, привезенная из Истер-Айленда (Тихий океан, корабль Е.И.В. «Топаз», капитан Эшмор Пауэл).*

*Вес 9000 фунтов.*

Признаюсь, что это указание не сказало мне решительно ничего. Я совершенно не знал, где находится среди тучи островов и архипелагов, усеивающих Тихий океан, остров, именуемый Истер.

Я решил узнать об этом и собирался скалькировать неразборчивый иероглиф, о котором я вам сказал, как вдруг подошел ко мне довольно жалкий человек, нечто вроде старьевщика, подстерегающего покупателей, и сказал мне хриплым от злоупотреблений джином и виски голосом:

– Если вас интересует, иностранец, этот род рисунков, то в моей лавке найдется одна очень старинная вещь.

Я пристально посмотрел на этого человека. Он мотнул

своим квадратным подбородком на иероглиф, который я копировал. Я поколебался, но потом последовал за ним.

Лабиринтом узких и вонючих улочек, на углах которых виднелись успокоительные фигуры полицейских-бобби, он провел меня к низенькой лавочке, заваленной самым невероятным хламом, и ввел меня в нее. Грязная и неповоротливая женщина, с волосами точно у мокрой собаки, протянула какое-то приветствие и по его приказанию открыла ставни снаружи этой угрюмой лавчонки.

Я еще раздумывал, возможно ли оставаться мне здесь, когда человек этот, перевернув и переставив ряд предметов, вытащил из пыльного угла нечто вроде панно из крепкого, но изъеденного червями дерева, на которое время навело свою матовую патину, и вдруг один взмах тряпки показал мне... но лучше взгляните: вот фотографический снимок.

Говоря это, доктор вынул из своего портфеля фотографию и положил ее перед нами.

– Нет необходимости кончить специальную школу, – снова начал он, – чтобы с первого взгляда подметить в начертанных здесь иероглифах быющее в глаза сходство с иероглифами надписи на погребальном памятнике с полуострова Майя.

Я сделал ошибку – в глазах моих блеснуло желание унести с собою этот предмет, а потому мне и пришлось заплатить за него очень дорого; но если бы этот антиквар знал настоящую цену этого предмета, то, я думаю, что, узнав об его цене, он

тотчас бы удавился, когда уступил его мне.

Получить доску с надписью – это было хорошо; но еще лучше было бы узнать ее происхождение. Это было чрезвычайно трудно, и вот почему.

Сперва я подумал, заключив это из умолчаний странного продавца, что доска эта была украдена из какого-нибудь музея. Мне пришла в голову счастливая мысль поделиться с ним моими предположениями и попросить его показать мне его книгу покупок, чтобы я мог найти в ней имя продавца. Так как я позаботился сперва открыть дверь на улицу, и так как огромный полисмен находился так близко, что мог бы услышать меня, то это развязало язык господину старьевщику.

Он не показал мне книги своих покупок и имел для этого достаточно причин, но он сообщил мне, что я ежедневно могу встретить продавца в соседнем ресторане, вывеска которого гласила «Старая Ирландия»; сообщил мне и прозвище этого человека: Блэк энд Уайт; сообщил также, что я встречу его там в любое время, разрешенное для принятия внутрь крепких напитков, и что в случае непредвиденного отсутствия его можно искать на ближайшей набережной, где выгружаются корабли и где ему случается исполнять функции выгрузчика угля, откуда и пошло его имя: Белый и Черный.

Тщательно припрятав купленное панно, я отправился в указанный бар, у стойки которого имел счастье встретить

нужного мне человека, сильно разъяренного, так как последний пенни его был пропит, а трактирщик отказывал во всяком кредите.

В пустынном зале бара, перед обильным количеством виски, человек этот решился сказать мне все, что знал о происхождении этого предмета, получив от меня клятву в полной безнаказанности и расчувствовавшись от перспективы получить пять гиней на водку. Вот его рассказ полностью, каким я мог восстановить его после нашей беседы.

\* \* \*

В 1862 году испано-перуанское правительство с беспокойством констатировало, что залежи гуано на островах Чинча, от эксплуатации которых оно получало значительные доходы, уменьшаются, и чем энергичнее будут эксплуатироваться, тем скорее будут исчерпаны и тем самым оставят без работы многочисленных переселенцев на эти острова.

Правительство стало тогда изыскивать пути к поднятию культуры обширных государственных земель, на которых существовали в значительном числе концессии. Но колонистам не хватало необходимых рабочих рук для разработки, которая могла придать ценность их землям.

Тут найдено было следующее решение этого вопроса, и правительство сочло его за очень остроумное: полинезийские архипелаги изобилуют свободными рабочими руками,

так как на островах этих живут полудикие и свободные племена. Было решено, что морская экспедиция широко охватит эти рассеянные по Тихому океану острова и наберет на них добровольцев, чтобы населить ими гасиенды, хутора, где так не хватало рабочих рук.

Четырнадцать шхун были снаряжены для этой ловли людей, нагружены товарами для обмена вроде материй, топоров, ножей, бус; на каждой шхуне был представитель от правительства для заключения контрактов по найму, и корабли покинули Каллао при попутном ветре, дувшем в корму.

В принципе над островными дикарями не должно было производиться никакого насилия, но так как капитанам-рекрутчикам была обещана за успешные действия премия, то в действительности вышло по-другому. Каждое судно стало чем-то вроде рабовладельческого корабля. Четырнадцать судов иногда заключали добровольные договоры при помощи подарков, которые они впоследствии отбирали, иногда принуждали к этим договорам терроризованное население, угрожая ему топорами и ружьями; так корабли эти пиратствовали среди архипелагов и в ряде путешествий оставляли кровавые следы своего пребывания на островах Самоа, Тонга, Валлиса, Тубуай, вплоть до островов Туамоту, над которыми развевался французский флаг, вследствие чего три из этих шхун были задержаны французскими крейсерами и проданы с торгов в Таити, в то время как капитаны и их суперкарго были повешены на новеньком фале, на самой вы-

сокой рее большой мачты.

Одиннадцать остальных пиратских кораблей вернулись в Каллао и продали свой человеческий груз в гасиенды, продавая людей от восьмисот до двух тысяч франков за голову.

Это было выгодное дело для продавцов, но очень убыточное для колонистов, владельцев гасиенд. Полинезийцы, оторванные от родной почвы, как нельзя хуже акклиматизировались среди холодных и черных туманов, спускающихся с Кордельеров и Анд. Оторванные от своей беззаботной и чувственной жизни, получая вместо пищи постоянные удары палками, они в течение очень короткого времени погибли тысячами.

Владельцы их, оскорбленные плохой приспособляемостью этого купленного скота, завопили об убытках; вопили они так громко, что их, хотя и по совершенно другим причинам, слышали два человека и пришли в глубокое волнение.

Первый был один из Лессепсов, французский консул в Перу; второй – капитан бретонского корвета, де Корпулье, ставший позднее адмиралом и губернатором.

Они заговорили так громко, что, несмотря на недружелюбное отношение Южной Америки в эту эпоху к французскому флагу ввиду бывшей тогда французской экспедиции в Мексику, оба они добились права посещать гасиенды и возвращать на родину тех похищенных, которые этого пожелают.

За очень редкими исключениями желали этого все, физи-



ческое истощение оставшихся в живых было настолько велико, что лишь очень немногие достигли гавани, где их ожидали французские суда, и среди этих немногих смерть собрала еще новую жатву, пока их подкармливали на кораблях, чтобы они могли вынести морское путешествие. Могилы их до сих пор находятся на острове Сан-Лоренцо. Все изложенное выше является историческим фактом.

\* \* \*

Сотню из них отдельно собрали на корвете «Галатейя», потому что они казались — заметьте это — какой-то особенной расой. Их с первого же взгляда можно было отличить от их товарищей: они отличались цветом кожи, бывшей у них бледно-желтого, почти янтарного цвета, гораздо более светлого, чем у чистокровных малайцев; лицо у них было овальное, черты лица правильные, высокий и прямой лоб, превосходные зубы, черные и блестящие глаза, как смоль черные волосы, стройные формы тела; несмотря на свое физическое изнеможение, они казались в одно и то же время и утонченными и приниженными представителями какой-то древней и прекрасной расы, слишком долго пребывавшей в собственном узком кругу рождений, где не было ни скрещивания, ни метизации. В то же время они обладали странной особенностью зрения: все они ясно видели ночью.

Эти особенности их удостоверены в медицинской ведомо-

сти «Галатеи», морским доктором Кормеро.

Матросы жалели их и ухаживали за этими несчастными умирающими созданиями, как за младенцами. Конгрегация монахов Святого Сердца отправила к ним из Вальпараисо миссию, которая посетила их и распределила между ними Библии, напечатанные на местном языке. Но, слушая миссионеров, они тихонько покачивали головой, говоря только одно слово, то самое, какое они шептали перед смертью, глядя на небо: «Инти!.. Солнце!»

Среди них был пятилетний ребенок, прелестный ребенок с черными вьющимися волосами, за которым внимательно ходил странный старик с бритой головой. Все племя выказывало – и этот факт занесен в корабельные ведомости – нечто вроде обожания этим двум существам, и более ребенку, чем старику. Однажды ребенок заболел, доктор Кормеро поставил диагноз: тифоид. Чтобы освежить бедную, пылающую от лихорадки голову, он хотел срезать черные кудри ребенка. Но едва умирающие увидели, как к черным кудрям приближаются ножницы – крик ужаса вылетел из их груди, и своими иссохшими телами они загородили маленького больного. Доктор должен был отказаться от своей затеи, но, однако, спас жизнь ребенка; зато умер от истощения старик, который хотел бодрствовать днем и ночью во время болезни ребенка, не покидая его ни на мгновение.

Во время его агонии, тронутый его безмерной преданностью, доктор Кормеро помогал ему, как мог. Когда он по-

чувствовал, что холод смерти уже сковывает умирающего, тот приподнял голову и вынул из-под нее завернутую во что-то вроде циновки доску. Он поколебался, потом протянул ее доктору, указав пальцем на мальчика и бормоча слабым голосом слова, из которых доктор удержал в памяти только последнее: «Инти...» Сердце старика перестало биться. Тело его было присоединено к телам других мучеников под чуждой землей острова Сан-Лоренцо.

Когда доктор Кормеро развернул циновку, он нашел в ней доску из дерева торомиро, на которой были вырезаны странные знаки. Никто из туземцев, которым он ее показал, не смог объяснить ему надписи, но все выразили что-то вроде обожания перед этим странным, завещанным ему имуществом.

Только один из них, самый старший, мог прочесть по складам эти таинственные иероглифы на никому не известном языке. Когда с помощью переводчика-таитянина его спросили, что значит только что прочтенное им, он ответил: «Я прочел так, как научили меня жрецы, и на их языке; но мне неизвестно значение слов, написанных здесь». И это было все, что можно было узнать от него; что же касается ребенка, то все замкнулось в непобедимом молчании, когда их спрашивали о нем.

Из этой сотни выжили только тридцать, и их переправили на французский крейсер «Алмаз», который направился к их острову. Но рука судьбы отяжелела над несчастной расой: из

тридцати только одиннадцати суждено было увидеть берег, от которого их оторвали, и среди этих одиннадцати был священный ребенок. Остальные умерли от страшной оспы, которая вспыхнула на корабле во время переезда.

\* \* \*

Доктор Кормеро в течение долгих лет хранил в углу своей каюты таинственную доску, которая и следовала за ним в его отдаленных путешествиях.

Он почти забыл о ней, когда через шестнадцать лет он встретил на островах Папити его преосвященство Янсена, епископа из Аксиери, который после долгого пребывания в ряде миссий, управляющихся им, знал почти все диалекты архипелагов Тихого океана; доктору пришло на мысль показать ему иероглифы.

Прелат немедленно признал в доске из торомиро одну из так называемых говорящих досок, два других экземпляра которых были ему доставлены в 1871 году distinguished отцом Русселем и послушником Эйно, которых он направил с миссией на остров Пасхи, где он велел уничтожить подобные предметы, потому что туземцы воздавали им божеские почести, как идолам. Янсен должен был признать, что никто не смог перевести эти иероглифы.

Насколько он знал — только и уцелели эти две доски, находившиеся теперь в музее города Сантьяго в Чили. В это

время подготовлялась Всемирная выставка 1878 году в Париже, и епископ Янсен без труда получил согласие от доктора Кормеро, чтобы тот временно отдал ему третий экземпляр; епископ немедленно послал его на выставку господину де Ватвилю, чтобы тот выставил его в секции экспонатов Тихого океана.

Но барон де Ватвиль никогда не получил этой доски...

В 1913 году, при разгрузке около Сванзеа груза старого железного лома, предназначенного к переплавке в мартеновских печах британской сталелитейной компании, один из английских докеров нашел в трюме парусника «Аннабел Ли», пришедшего из Бреста, старую деревянную доску, настолько покрытую пылью от окарины, что на первый взгляд доску эту можно было принять за металлическую.

Схватив ее, чтобы бросить на телегу, докер по небольшому весу ее понял свою ошибку и, вытерев ее, увидел какие-то вырезанные рисунки. Он припрятал доску под грудой мешков, взял ее оттуда ночью и отнес к одному своему знакомому, которому он обыкновенно сплавлял все то, происхождение чего не могло быть удостоверено.

Груз «Аннабел Ли» шел на верфи братьев Лермит, специализировавшихся на покупке и разборке старых военных судов, выключаемых из списков. Железный лом этот получился от разборки крейсера «Сейньеле», который плавал в 1878 году по Тихому океану под командой капитана Об.

Излишнее любопытство полиции поставило этих двух лю-

дей, докера и скупщика, перед альтернативой – или переменить место своих действий, или познакомиться с судом, а потому они и очутились в Лондоне.

В баре под вывеской «Старая Ирландия» докер был известен под кличкой Блэк энд Уайт, которая вдвойне оправдалась и его цветом грузчика угля, и его неумеренной склонностью к виски под этикеткой такого названия.

\* \* \*

Поленья в очаге рухнули и разлетелись фонтаном искр и углей, точно разрушающийся раскаленный грот.

На старых часах пробило четыре часа. Гном лукаво улыбнулся:

– Не находите ли вы, что пора было бы уже идти спать? Я злоупотребляю вашим вниманием, господа. Я мог бы завтра продолжать свой рассказ.

Все мы пылко и единогласно восстали против этого.

– Огонь наш погас, о весталка, – сказал Корлевен Флогер-гу, который, опершись подбородком на руки, слушал всей своей душой, так что забыл о холоде. Он точно проснулся от сна, бросил два полена на раскаленные угли и снова уселся.

Доктор Кодр продолжал:

– В таком случае, раз вы решительно желаете продолжения, мы немного займемся исторической географией, по одному вопросу, весьма мало, впрочем, разработанному.

Доктор развернул карту большого масштаба, на которой мы увидели архипелаги Тихого океана, и поместил свой указательный палец на маленькой черной точке, очень уединенной, которая помещалась на границе южной части обширного голубого пятна, изображавшего Тихий океан, и немного южнее тропика Козерога.

– В 1687 году английский мореплаватель Джон Дэвис, плывя по Тихому океану, увидел на горизонте, в месте, не обозначенном на карте, скалистый островок, окаймленный высокими черными и очень обрывистыми утесами. Ветер был противный, берег казался неприступным, а потому Дэвис ограничился тем, что нанес этот пункт на карту и окрестил остров своим именем: Земля Дэвиса.

Шестого апреля 1722 года, в день Пасхи, три голландских корабля под командой Роггervена, потерявшись в безмерном океане, заметили легкую полосу тумана на самом горизонте. По мере своего приближения они заметили сперва зубчатые вершины утесов, а затем и весь остров. Когда они огибали его с востока, то увидели, что утесы мало-помалу понижаются и наконец обращаются в пляж. Человек в пироге из плетеного бамбука отвалил от пляжа и причалил к адмиральскому кораблю. Говорил он на неизвестном диалекте, но не казался испуганным, с любопытством все рассматривал, а потом, когда солнце стало садиться, бросился в воду, доплыл до своей пироги и вернулся на остров.

Роггervен приказал бросать якоря. На следующий день

отряд матросов высадился на землю. Туземцы оказали радужный прием и с радостью стали обменивать овощи и свежие фрукты на предлагаемые им безделушки. Роггервен заметил, что очень многочисленное население состояло как бы из двух различных рас: одна – нормального типа полинезийцев, другая – светло-желтого цвета, некоторые почти белые, татуированные тонко исполненными рисунками животных и птиц.

Эта желто-белая раса, по-видимому, поклонялась огромным идолам с человеческими лицами, высеченными в черных утесах острова; идолы эти, казалось, населяют остров. Некоторые из туземцев, которых Роггервен считал жрецами, были одеты в белые и черные перья и имели гладко выбритую голову. Они решительно воспротивились, когда европейцы приблизились к этим статуям.

На горизонте показался шквал, ночь приближалась, а потому исследователь дал сигнал возвратиться на корабли, поднял якоря и направился к югу.

По тому дню, в который Роггервен открыл этот остров, он назвал его островом Пасхи.

В мае 1774 года, за пять лет до своей смерти на Сандвичевых островах, знаменитый английский мореплаватель, капитан Кук, во время своего второго кругосветного путешествия заметил, что страшный скорбут распространился на его кораблях из-за исключительного употребления консервов и соленой пищи. Буря, продолжавшаяся несколько дней, броси-



ла его в эту часть Тихого океана, такую пустынную, что, кроме острова Пасхи и необитаемой скалы, под названием Сала-и-Гомес, нельзя найти никакой другой земли в окружности диаметром две тысячи шестисот километров. Он достиг наконец этого острова и высадился в бухте восточной стороны, которой и дал свое имя.

Его встретили так же радушно, как и предшествовавших европейцев. Свежая пища помогла выздоровлению больных. Кук пробыл здесь три дня и исследовал остров. Кука сопровождал его переводчик, таитянин Гиди-Гиди, которому удалось объясниться с полинезийской расой этого острова. Кук нашел на острове огромное количество идолов гигантских размеров из черного камня. Растительность была скудная. Гиди-Гиди так подвел итог своим впечатлениям, отчаливая от острова:

«Taata maiti, wenoue ine!» («Хорошие люди, плохая земля!»)

В 1786 году Лаперуз, за два года до своей смерти в Ваникоро, бросил якоря своих фрегатов «Буссоль» и «Астролябия» в северной бухте этого острова, которой и дал свое имя. Наблюдения, сделанные там его ученым спутником, господином Бернизе, были очень точны, но не внесли ничего нового.

Четырнадцатью годами позднее, в конце 1800 года, китобойное судно «Нанси», из Лондона, высадило на этом острове свой экипаж, который вел себя там по-пиратски, грабил

жатвы, бесчестил женщин, оскорблял жрецов, обливал нечистотами идола. Туземцы взбунтовались и восстали; они оказались чрезвычайно ловкими метателями из пращи. Произошла битва; полилась кровь; экипаж китобойного судна бежал на борт своего корабля, оставив на острове кроме убитых мушкетами и тонерами еще и ненависть к европейцам, посеянную в сердцах безобидных туземцев. Это один из первых результатов того, что мы называем цивилизацией.

Плоды этого варварства пожал через шестнадцать лет Коцебу на русском корабле «Рюрик», потому что когда он пристал к острову, то матросы его были ограблены и избиты. Среди наблюдений, сделанных им, надо отметить, что он указывает на очень чистый тип женщин, которых сравнивает с европейскими женщинами.

Начиная с этого времени, не проходило пятилетия без того, чтобы какое-нибудь судно не приставало к острову. Перечисление их было бы слишком скучным. Мало-помалу по мере того, как блага цивилизации достигали острова, народонаселение его уменьшалось.

В 1786 году Лаперуз определил число жителей острова от пяти до семи тысяч человек. После опустошительного налета, сделанного в 1862 году «Корой» и «Розой Кармен», кораблями перуанских рабовладельцев, о которых я рассказывал, население это в 1877 году состояло только из ста десяти жителей, из которых двадцать шесть были женщинами.

Лучшее описание этого острова сделано было миссией

Пинара, доставленной туда французским крейсером «Сей-нъеле» в 1877 году, и миссией Вер-Беркли, которую доставил туда британский крейсер «Топаз» в 1897 году.

Вот съемка этого острова, произведенная Беркли и доставленная во Французское географическое общество при отчете о путешествии, повторенном им еще и в апреле 1899 года.

Доктор развернул перед нами нарисованную от руки карту, изображающую остров в форме равнобедренного треугольника, основание которого направлено по линии юго-юго-запад. Геодезические линии берегов указывают, что в бухте Кука высота почвы идет от нуля, а на южном конце острова доходит до тысячи пятисот футов над уровнем моря. Многочисленные вершины острова, испещряющие его, помечены на карте как потухшие вулканы, главным из которых является Кирикуру на южной оконечности острова.

– Сведенные в одно различные наблюдения путешественников, – продолжал доктор, – дают такую картину.

Остров – вулканического происхождения, покрыт лавою и шлаком от очень древних вулканических извержений; на острове очень много природных пещер, которые, судя по раскопкам, должны были служить убежищем для людей доисторических эпох.

Южный мыс образован склонами кратера с вертикальными внешними стенами более ста двадцати метров высотой. Почва его представляет собою настоящий склад костей.

Нельзя выкопать ни малейшей ямы, не наткнувшись на человеческие останки. Изучение черепов показывает, что здесь жила раса среднего роста, но высокого развития.

Главной особенностью и тайной острова является присутствие на нем более пятисот статуй, высеченных в твердом черном трахите, из которого состоят высокие скалы, а также существование ста десяти больших гладких площадок, имеющих сто метров в длину, три – в высоту и три – в ширину и сделанных из огромных облицованных камней, превосходно сложенных по всем правилам искусства.

Некоторые из этих статуй достигают шестидесяти футов высоты и весят до двухсот пятидесяти тонн! Все они высечены из цельного камня. В настоящее время при всей нашей технике нет никакого средства перевезти их с места на место, и, однако, многие из них были когда-то привезены из каменоломен, где их высекали, и поставлены на площадках. Все современные способы поднимания тяжести, которыми мы располагаем, сулили бы только проблематический успех подобной работе. И если посмотреть на степень цивилизации современных обитателей острова, то как можно допустить, чтобы дикари, лишённые всяких механических средств, могли реализовать то, чего не можем мы?..

Лица этих идолов не имеют никакого сходства с современной расой, которую считают завезённой сюда из Полинезии миссионерами. На цоколях этих фигур находятся надписи, скалькированные и привезённые в Европу, но напрасно эпи-

графисты Старого и Нового Света стирались их разобрать.

В глазах гнома блеснуло лукавство.

– Мне кажется, господин Кодр, что среди этих эпиграфистов есть одно исключение, – сказал Корлевен.

Доктор не ответил и продолжал:

– Теперь другое: заметили, что площадки на острове Пасхи соответствуют таким же, почти совершенно подобным, в некоторых местностях Перу, а с другой стороны, что находящиеся на них надписи сходны с такими же надписями, встречающимися на полуострове Майя. Основываясь на постоянстве пассатных ветров, которые под тропиками от октября до апреля дуют неизменно с востока на запад, ученые решили, что в древние времена имело место переселение с востока на запад и что остров Пасхи был населен расой, явившейся из Перу...

Доктор обвел взглядом всех нас, очки его блистали точно маяк. Думая, что он ждет выражения наших мнений, я имел неосторожность произнести: «Основательное рассуждение», – что к тому же было подтверждено кивком головы трех моих товарищей.

Громовый удар кулака заставил подскочить на шесть дюймов вверх все то, что стояло на столе, и гном вскочил, точно черт из коробки.

– Это были невежды! – прогремел он, пригнув свое взъерошенное лицо к моему.

Я склонил голову, что было весьма уместно и тем более

необходимо, что мне надо было скрыть сильное желание расхохотаться. Старый Кодр схватил меня за руку.

– Это были набитые ослы! – добавил он. – Поглядите сюда!

И он сунул мне под нос несколько копий иероглифических надписей.

– Вот это – лист один с погребального памятника полуострова Майя; вот это – копии с различных надписей на цоколях статуи с острова Пасхи; вот это я скалькировал с тиражи каменной головы в Британском музее. Этот иероглиф на погребальном памятнике читается как *Томо-Аи*. А вот этот, на статуе острова Пасхи?

Оба иероглифа были совершенно тождественны. Доктор продолжал греметь:

– Вот этот читается *Ума-Рива*. А как вы прочтете вот этот? Я развел руками.

– Он читается *Томо-Эри*; а вот это?.. Это значит *Гу-Гу*; а что значит вот это?.. Здесь *Маро-Геи*, здесь *Винапу*; а как прочтете вы вот это и это?..

Ногтем, острым как коготь, он бешено подчеркивал иероглифы. Иероглифы, попарно подчеркивавшиеся им так, были тождественны.

– Ладно! – продолжал разгневанный человечек. – Теперь, я полагаю, вы убедились в тождестве? Но что вы из этого выводите?

Я молчал, точно набрал в рот воды. Кодр с презрительной

жалостью возвел к потолку глаза. Потрясая меня точно дерево, гнущееся под ветром, он нагнул меня над картой Тихого океана.

– Рассмотрите вот это и постарайтесь изложить мне свое мнение.

Он соизволил выпустить мою руку и прогуливался вдоль и поперек комнаты, шумно вздыхая от нетерпения, как паровик со сжатым паром, выпускающий его через клапаны. Головы моих товарищей склонялись рядом с моей над картой.

– Что вы скажете? – тихо прошептал я Корлеvenu, надеясь, что как капитан дальнего плавания, он должен знать больше меня в этом вопросе. Это была странная карта, на которой все земли, окружающие Тихий океан, начиная от Новой Зеландии до мыса Горн, переходя через Гебридские острова, Новую Гвинею, Филиппинские и Марианские острова, азиатский берег, Японию, Камчатку, Алеутские острова, Аляску и кончая всей западной стороной обеих Америк, были окаймлены какой-то красной лентой различной ширины, испещренной черными и белыми точками, около которых стояли номера. Посредине голубого пятна Тихого океана круглое красное пятно окружало и поглощало собою Гавайские острова:

– Это карта вулканической зоны, – шепнул мне Корлевен. – Черные точки – потухшие вулканы, белые точки – вулканы действующие.

Я молчаливо согласился с его мнением, но не мог вывести

из него ничего такого, что помогло бы мне успокоить раздраженного старого ученого; поэтому я молчал.

– По-видимому, карта эта действительно не внушает вам никаких мыслей? – снова начал Кодр с насмешкой. – Поздравляю вас!.. А что скажете вы, господа?

– Мы сочли бы за честь узнать ваше мнение, доктор, – вежливо сказал Гартог.

– Черт побери! – воскликнул неумолимый экзаменатор. – Ну, такое решение не иссушит ваших мозгов! А что выводит из этой карты вы, господин мореплаватель?

Я без излишнего самолюбия уступил свое место Корлеvenu.

– Мне кажется, – сказал тот, нащупывая почву, – что вы имеете в виду вулканы, окружающие Тихий океан.

– Ага! – заметил Кодр. – Вот уже кое-что и разумное. А можете вы припомнить и назвать мне некоторые из этих вулканов?

Корлевен напряг свою память и припомнил курсы гидрографии.

– На островах Тонга есть, кажется, вулканы Фалькон и Тафуа; на островах Самоа – Уполон и Саван. Я упоминаю только действующие вулканы. Несколько выше, на Гебридских островах, – Уринарапара, а на Санта-Курце – вулкан Тинакору; на Молуккских островах – Ани, на Марианских – Аламагал. Четыре вулкана действуют на Филиппинских островах, но я не припомню их названий.



– Майон, Тааль, Дидика, Вабуйян, – перечислил гном. – Продолжайте.

– В Японии почти все вулканы действующие. Я могу назвать только Фудзияму.

– Он нарисован на всех базарных веерах!.. Дальше?

– Вулкан Танайя – на Алеутских островах; Ферунтер – на Аляске; Бакер, Рейнье, Святая Елена – в Соединенных Штатах; Попокатепетль – в Мексике; в Центральной Америке – Фуего; в Коста-Рике – Чинки, в Колумбии – Толима; в Эквадоре – Чимборасо; в Перу – Титинака; в Боливии – Убинас; в Чили – Сан-Педро, Ласкар и Корковадо; наконец, в Патагонии – Чальтен.

Кодр удостоил улыбнуться ему:

– Хотя вы и пропустили четыре пятых, все-таки перечисление ваше достаточно точно, если и неполно. Вокруг Тихого океана находится сто сорок один действующий вулкан и втрое больше вулканов потухших. В самой середине Тихого океана, на Гавайских островах, до сих пор действуют три вулкана: Мауна-Леа, Киланеа и Мауи, а если бы можно было исследовать пропасти этого океана, где в знаменитом провале Неро, между Марианскими и Каролинскими островами, лот показал глубину в девять тысяч семьсот восемьдесят восемь метров, – то нашли бы, что все дно буквально усеяно потухшими кратерами, страшное и внезапное пробуждение которых было причиной когда-то страшных трагедий, в течение нескольких часов создавая и разрушая целые конти-

ненты.

Но вот к чему я веду, раз уж это я должен вас вести.

Земля – это теперь уже принято наукой – была при своем зарождении огромным огненным шаром, оторвавшимся от солнца и состоявшим из ядра, где кипели все вещества, окруженным газообразной атмосферой. Атмосфера эта заключала в парообразном состоянии все элементы ныне существующие на земле в твердом или жидком виде; элементы эти под влиянием страшного жара были разъединены, иначе говоря, не были соединены химически и представляли собою только простые тела. Постепенное охлаждение шара среди безмерно холодного межзвездного эфира образовало вокруг его раскаленного ядра кору, подобно тому, как она образуется на поверхности жидкостей во время их замерзания.

Эта земная кора, преградив дорогу для внешнего излучения ядра, сделала то, что окружающая атмосфера охладилась и что разъединенные простые тела стали соединяться, смотря по своему химическому родству; можно думать, что первое сложное тело родилось тогда от соединения кислорода и водорода, – это была вода, еще в виде паров. Пар этот сгущался в верхних слоях атмосферы, падал обильными потоками на еще раскаленную землю. Борьба между водой и огнем была, вероятно, ужасной. Миллионы раз вода, соприкасаясь с уже отвердевшей, но еще раскаленной от центрального огня корою, должна была с шипением и свистом подни-

маться снова вверх, чтобы снова сгуститься; но каждый раз она уносила с собою немного тепла и уже не возвращала его обратно.

Что же было следствием этого охлаждения земного ядра? Кто-нибудь из вас имеет ли сведения о плавильном деле?

Тут дело касалось уже моей специальности как инженера, и я сказал это.

– Ага! – улыбнулся Кодр. – Быть может, на этот раз вам больше повезет, ученик Гедик. Что называется в плавильном деле сжиманием?

На этот раз мне попался хороший билет, и я воспользовался случаем:

– Расплавленный металл при охлаждении уменьшается в объеме. При застывании первой охлаждается наружная поверхность, соприкасающаяся с песком при формовке. Следствием этого является то, что внутренняя часть затвердевающего металла сжимается только после застывания внешней коры, а отсюда – процесс всасывания и образования внутренних пустот и полостей.

– Недурно, – удостоил заметить профессор. – А что происходит затем?

– Одно из двух: или внешняя застывшая кора уже достаточно прочна, чтобы противостоять всасыванию, и тогда внутри появляются пустоты и полости, довольно часто приводящие к разлому вещи при ее употреблении, или внешняя кора еще пластична, тогда она втягивается внутрь и про-

исходит нарушение внешней формы отливаемого предмета, появляются складки...

– Складки! – взвизгнул гном. – Вы сказали – складки! Очень хорошо, ученик Гедик. Образуются складки. А какое же из этих двух явлений должно было, по вашему мнению, произойти на земной поверхности?

– Земная кора была слишком тонка по сравнению с объемом ядра и потому должна была подчиниться процессу всасывания...

Гном заликовал:

– Именно это и произошло: земная кожа, если можно так выразиться, оказалась слишком широкой для своего ядра и поэтому сжалась в складки, чтобы приспособиться к нему. Точь-в-точь как кожура яблока, сморщивающаяся зимой, чтобы оставаться в соприкосновении с мякотью. Верхнюю часть этих складок заняли континенты и горы, а углубления стали океанами.

Но так как охлаждение ядра продолжалось и, прибавлю, продолжается до сих пор, то было еще несколько последовательных сжатий в течение веков. Современная наука насчитывает их четыре: Кембрийское, Каледонийское, Армориканское и Альпийское, в течение которых появились из волн одни за другими ныне существующие и извечные вершины и континенты.

Но если современная наука сумела классифицировать различные фазы образования изученных этой наукой конти-

нентов, то совсем иначе обстоит дело с теми континентами, которые существовали когда-то, но затем были поглощены новым смещением слоев земли.

Четыре наших лица, вероятно, отражали свет, рождавшийся в нашем сознании, потому что лицо доктора Кодра расцвело радостью. Он продолжал, отчеканивая слова, размахивая руками, топая короткими ногами – точно лектор, чувствующий, что его аудитория уже наполовину завоевана, и потому обрушивающий на головы слушателей последние тяжелые аргументы.

– В течение неведомых веков было еще одно сжатие земли, которым был образован огромный континент, который с востока примыкал к Америке, а с запада, – по всей вероятности, к Новой Зеландии.

Но вследствие продолжающегося охлаждения центрального ядра образовались пустоты, которые всосали ту часть земной коры, которая представляла наименьшее сопротивление. И континент, который возвышался там, где ныне расстилается безмерный и пустынный Тихий океан, раскололся, обрушился. Моря хлынули в образовавшиеся провалы и заполнили их, оставив на поверхности только вершины исчезнувшего материка. Вот эти-то вершины и составляют теперь архипелаг бесчисленных островов Тихого океана.

Обрушившаяся таким образом земная кора, однако, не была уже пластичной, она была твердой. Поэтому она не могла уже сжаться, она должна была сломаться. Должны бы-

ли раскрыться зияющие пропасти, в которые хлынули моря. Снова произошла титаническая борьба между огнем и водой. Огромные массы пара, обладавшие невероятной силой, были загнаны под земную кору и искали себе выхода. По мере того как их внутреннее давление пробивало дорогу путем нового вулкана на новой земной поверхности, вода снова возобновляла борьбу и всюду побеждала, до тех пор, пока эти гигантские клапаны не могли быть уже залиты водой, так как открывались уже на твердой земле; тогда они послужили как бы фонтанелью...

– Отдушинами, – рискнул заметить я.

– Вот именно, отдушинами, – одобрил Кодр, – раз уж продолжать употребление терминов плавильного дела. Эти вулканы, выходявшие на вольный воздух, послужили отдушинами для сдавленных под утонувшей корою паров и окружили Тихий океан той непрерывной линией кратеров, которые окаймляют его, как огненная бахрома.

И вот на этом теперь погибшем материке – или по крайней мере на одном из этих материков, так как их могло быть несколько, – зародилась, жила, достигла цивилизации, процветала, а потом умерла эта раса, от которой произошли инки, переселившиеся с запада на восток; последние из переживших инков нашли убежище, когда разразился ужасающий катаклизм, на единственной вершине, выступавшей из волн океана, единственной на тысячу триста километров по радиусу круга, в самой южной части бывшего материка. Это

был остров Пасхи.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.